В Питер за сарафаном (Сборник)

Художественная литература 2026

В Питер за сарафаном (Сборник)

В Питер за сарафаном

Опять горели где-то леса, опять солнце было в дыму, неживое, словно заколдованное, и песчаная раскаленная улица, вся расчерченная черными тенями — от амбаров, от изгороди, от поленницы, — светилась каким-то диковинным неземным светом. И временами казалось, там, за окнами, не то Кащеево царство из полузабытой сказки далекого детства, не то какая-то неведомая фантастическая планета.

Но вокруг-то нас с Павлом Антоновичем никакой фантастики не было. Старинная крестьянская изба с плотно закупоренными окнами по случаю дыма и чада на улице, большая, еще битая из глины печь, с которой терпко пахло осиновым листом (старик держал козу), и занимались мы самым обыденным делом — разговором.

Павел Антонович, хоть и не выпускал из рук полотенца — в избе было душно и жарко, — выглядел еще молодцом. За столом сидел прямо, умные серые глаза из-под густых, все еще черных бровей глядели твердо. Но странно бывает устроена человеческая память! Павел Антонович хорошо помнил седые предания о «белоглазой чуди», некогда жившей у нас, на Пинеге, до прихода новгородцев и москвитян, живо мог рассказать о причудах кеврольского воеводы, которому возили питьевую воду за пятнадцать верст из одного холодного ручья, знал о пустынях в глухих чащобах на Юле, где в старину скрывались раскольники и беглые солдаты, а вот когда заходила речь о гражданской войне на Севере — он сам был участником ее, — память ему частенько изменяла.

Нас выручала Марья Петровна, его жена, полная, грузная старуха с удивительно молодыми глазами.

— Да ведь ты опять, дедо, не в те сани сел, — с легкой усмешкой поправляла она мужа и при этом поощряюще подмигивала мне: — Пишите, пишите! Нынче вся жизнь на бумаге. По прошествии какого-то времени Марья Петровна, сочувственно поглядывая на меня и на мужа, сказала:

— Все вы упарились. Не знаю, разве к Филиппьевне сходить. У ней завсегда квас на погребе. Старинного покроя человек… — И тут же воскликнула: — Вот она, легка на помине!

Я почувствовал, как легкая тень прошла по моему лицу, и вскоре услышал шорох веника на крыльце, скрип наружной двери. В избу вошла старушонка. Чинно перекрестилась, разогнулась и прошамкала какое-то приветствие на старинный манер, вроде «все здорово-те».

До чего же эта была маленькая да ветхозаветная старушоночка!

И опять на память невольно пришла старинная сказка с ее добрыми и благочестивыми бабушками-задворенками. Впрочем, одета она была по-современному: стеганая коричневая безрукавка, серый матерчатый передник, сапожонки кирзовые, а от прошлого разве что полинялый бордовый сарафан, да домотканый пояс с кистями, да синий повойник, выглядывавший из-под теплого бумазейного платка, по-старинному повязанного концами наперед.

— Что, Филиппьевна, в гости? — спросила хозяйка, подавая ей табуретку.

— Како в гости? Середь бела дня в гости! Филиппьевне-то пензии не платят. Это вам, молодым, по гостям ходить. Пришла про рожденье свое узнать.

— Ох ты Господи! — всплеснула руками Марья Петровна. — Я и забыла тебе сказать. Завтра у тебя день рожденья.

— Завтра? То-то мне не сидится сегодня. Куделю пряду ноне. Председатель просит: «Выручи, Филиппьевна, без веревок сидим, никто не хочет престь». А как Филиппьевны-то не будет, к кому, говорю пойдешь?

— Бабушка, — подал и я свой голос, — а сколько вам лет?

— Кто у вас в гостях-то? Худо вижу — весь свет в дыму. — Филиппьевна поднесла сухонькую коричневую руку к глазам и, подслеповато щурясь, посмотрела в мою сторону. — Молодец кабыть? Откуда?

— Дальний, бабушка. — Я нарочно повысил голос, сообразуясь с ее возрастом.

— Чую, что дальний. У нас говоря-то кабыть потише, — с легким подковыром сказала старуха.

— Из Ленинграда, бабушка. Слыхала такой город?

— Она не только слыхала. Она бывала там, — не без удовольствия ответила Марья Петровна.

— Почто бывала-то? — с притворной сердитостью возразила Филиппьевна. — Я и в Питере бывала-то.

— Так ведь это одно и то же, бабушка, — рассмеялся я.

— Одно, да не одно. В Ленинград-то на машинах ездят да по воздуху летают, а в Питер-то я пешком хаживала.

— Пешком?

— Пешком.

— Отсюда, из Ваймуши? — Это деревня километрах в четырех от Пинежского райцентра. — Подальше маленько. Верст десять еще прибавь. Из Шардомени.

Я перевел взгляд на Марью Петровну, затем снова посмотрел на старушонку. Да не морочат ли они меня? Ведь это же сколько? С Пинеги до Двины, с Двины до Вологды… Свыше полутора тысяч километров! И вот такая крохотуля промеряла этакое расстояние своими ногами…

Но еще больше удивился я, когда услышал, что она ходила в Питер — за чем бы вы думали? — за сарафаном…

— Правда, правда, — горячо заверила меня Марья Петровна. — Ходила наша бабушка. За сарафаном ходила. Расскажи, Филиппьевна, не забыла еще?

— Как забыть-то… Мне еще тогда говаривали: ну, девушка, всю жизнь будешь вспоминать Питер. И верно: как вечер-то подойдет, так и почнет из меня жилочки вытягивать. Всю-то ноченьку как на вытяжке лежу.

— Это, Филиппьевна, годы выходят, — посочувствовала Марья Петровна.

— Да ведь мои годы еще что. Восемьдесят четвертый пойдет, а матенка у меня в девяносто лет за морошкой хаживала.

Павел Антонович, который с приходом Филиппьевны завалился на кровать и до сих пор хранил молчание, тут поднял крупную облысевшую голову:

— Про матенку-то ему неинтересно. Ты про то, как в Питер ходила. Раньше, бывало, только об этом и трещала. Питербуркой звали.

— Звали. И рассказывать любила. А сейчас вся дорога в дыму. А раньше-то? Как начну вспоминать, каждый кустик, каждую ямочку вижу.

Все-таки Филиппьевна поддалась уговорам.

— Вишь, родитель-то у меня из солдатов был, бедный, — издалека начала она, — а нас у его пять девок. А мне уж тогда пятнадцатый год пошел, а я все в домашнем конопляном синяке хожу. Вот раз зашла к суседям, а у них посылка от сына пришла — в Питере живет. И такой баской сарафан прислал сестре — я дыхнуть не могу. Алый, с цветами лазоревыми — как теперь вижу… Ну, скоро праздник престольный подошел — Богородица. Вышли мы с Марьюшкой — это дочь-то суседей, которым посылка из Питера пришла. Вышли впервой на взрослое игрище. Она в новом сарафане, а я в синяке, только пояском новым — сама соткала — подпоясалась. Смотрю, и робята толк в сарафанах понимают. Я хоть и маленькая росточком была, можно сказать, век недоростком выжила, а на лицо ничего, приглядна была. А Марьюшка, прости Господи, тюря-тюрей — губы распустит, на ходу спит. А тут в новом-то сарафане нарасхват пошла. Бедно мне стало. Вот и думаю: мне бы такой сарафан! — боюсь в девках засидеться. А откуда такой сарафан возьмешь? Житье-то у родителей не богато. Братьев нет. Вижу, самой смекать надо. А где? Куда девку-малолетку возьмут? Ни в лес, ни в работницы. Да и сарафан-то питерский мутит голову. У иных девок тоже сарафаны, да не питерские — дак робята-то не так кидаются. Ну и порешила: пойду в Питер за сарафаном. Сходила…

— Эка ты, — подосадовала Марья Петровна, — да как ходила-то, рассказывай!

Филиппьевна вытерла темной рукой глаза.

— Мама, как услыхала, что я в Питер надумала, заплакала. «Что ты, говорит, Олюшка, умом пошаталась?» А тата-покойничек, из солдатов был, крутой на руку. Икону с божницы схватил: «Моя, говорит, девка! Иди, Олька. Люди же, говорит, ходят». Ну, матенка непривычна была перечить — не нонешнее время. Назавтра рано встала, хлебцы испекла, а тата уж воронуху запряг. Мама в голос, суседи прибежали: куда да куда девку собираете? А тата молчит, подхватил меня как перышко в сани и давай кобылу вожжами нахаживать. Тоже и ему не сладко было… Верст тридцать, до Марьиной горы, родитель подвез. Дал мне на прощанье рупь медью.

— На-ко, девка, иди с рублем в Питер, — всхлипнула Марья Петровна.

— Дак ведь деньги-то не трава — в лесу не растут. А дома-то у нас еще четверо по лавкам… Ну, дал мне родитель денег, перекрестил: «Иди, говорит, Олька, ищи свое счастье». А я как увидела, что он в сани садится, заревела: «О татонька, татонька, не уезжай. Не надо мне и сарафана». — «Нет, говорит, Олька, иди. Проходу тебе в деревне не будет, питербуркой звать станут».

Филиппьевна опять вытерла глаза.

— А все равно — и сходила в Питер, а прозвище приросло. Питербуркой и помирать стану.

— Ты скажи, как в лесу-то одна зимой осталась. — Марья Петровна прослезилась.

У меня тоже что-то защекотало в горле.

— Так и осталась. Кругом ели, как медведицы на задних лапах выстали, а я одна посередь дороги. И вперед ступить боюсь, и назад ходу нету. Отец-то у нас два раза говорить не любил… Спасибо людям. Меня как за руку до самого Питера вели. Выпрошусь у кого на ночлег, скажу, куда иду, только головами машут да охают. «Полезай ты, говорят, скорее, дитятко, на печь». А иной раз и подвезут, а то опять когда подводы идут, и за подводами подбежу. Только один раз мужичок подшутил, не на ту дорогу направил. Дак уж его в деревне ругали. «Вот какой, говорят, бесстыдник, над кем смываться вздумал. Отольются ему эти слезы». А так что — грех обижаться. Приветили в каждой деревне. И молоком накормят, и картошки на дорогу сунут. Хлебцем-то, правда, бедновато было — голодный тогда год был…

— Давай дак, не все приветили, — поправила Филиппьевну Марья Петровна. — Забыла, как у мужика-то заплатки отрабатывала?

— Дак ведь то уж где было-то. К Вологде подходила.

— Верно, верно, до заплаток-то ты еще к лету шла.

— Хошь не к лету. К весне. За зимой-то чего бывает?

— Ну-ну, — с готовностью согласилась Марья Петровна. — Рассказывай. Про журавлей-то не забудь.

— Вишь вот, она и про журавлей помнит, — кивнула мне Филиппьевна, и темное морщинистое лицо ее заметно посветлело. Видно, очень уж дорого было ей это воспоминание. — Были, были журавли, — вздохнула она. — Я из дому-то зимой отправилась, а на Двину-то вышла — щука лед хвостом разломала. «Иди, говорят, прямо на весну». Вот и иду на солнышко. Тепло. Травка стала проглядывать, а потом и журавли полетели. И так мне стало тоскливо. К нам ведь журавли-то летят. Встану, голову кверху задеру: «Журавушки, журавушки, кричу, скажите нашим, что девку на дороге видели. Жива». Тата уж помирать собрался, вспомнил: «Я, говорит, сам, Олька, всю весну журавлей выспрашивал, не видали ли где мою девку?»

— Пишите, пишите, — наваливаясь на стол грудью, говорила мне Марья Петровна, вся взволнованная, мокрая от жары и переживаний.

— Чего сказки-то писать? Ему про гражданскую войну да про революцию надо, — вдруг подал голос с кровати Павел Антонович. Он, оказывается, не спал, а тоже слушал.

— Чего писать… — рассердилась Марья Петровна. — Про это тоже знать надо. В прошлом году из Ленинграда приезжали, сказки да старинные песни записывали. А я говорю, у нас бабушка есть — почище всякой сказки будет. Ну-ко, Филиппьевна, как тебе мужик заплатки-то ставил? — И Марья Петровна, предвосхищая дальнейший рассказ, весело подмигнула мне.

— Это уж, девка, близко к Вологде. Обносилась я, обтрепалась. Дорога сопрела, лужи выступили, а я все в катанцах бреду. Вот в одной деревне и выйди мне навстречу мужик. «Что, говорит, глупая, лето пугаешь? Есть, говорит, у меня сапожонки некорыстные — только заплаты поставить надо». Ну, я без памяти рада. «Ладно, говорит, дам я тебе сапоги, только уговор — за каждую заплату ты мне день с робятами поводишься».

Филиппьевна пожевала старыми губами, криво усмехнулась:

— Много он заплаток наставил. Недели три я у него жила.

После этого старуха не без помощи Марьи Петровны припомнила еще несколько забавных случаев из своего многотрудного хождения, а затем, направляемая все той же Марьей Петровной, вошла наконец в Питер.

— Дома большие, каменные, и столько окошек в каждом доме — у нас во всей деревне столько-то не будет, сколько в одном тамошнем доме. А людей-то, Господи, как воды льет. Лошадей-то скачет... А я с белым мешочком за спиной, батожок в руках, босиком, на само Невсько — главный пришпект — выкатила. Вот тут-то у меня ноженьки и отказали. Всю дорогу хорошо бежали, а на Невсько вышла — и отказали. Стою, с места двинуться не могу. Боюсь нырнуть-то в эдакий муравейник. Думаю, нырнуть-то нырну, а как вынырну? А мне суседа, Марьюшкина брата, разыскать надо. Дале догадалась: постой, ведь у меня бумажка есть, там все написано. Ну, бумажечку достала, держу в руках. А тата мне наказывал: «Ты, говорит, Олька, у бедных больше спрашивай — скорее скажут». А поди разберись, который тут бедный, который богатый. На кого ни погляди — все господа да барыни. Ну, нашелся кавалер, сам прочитал. «Тебе, говорит, девушка, на Васильевский остров надо. Иди, говорит, все по Невському пришпекту, там цярьский дворец будет». — Филиппьевна подняла голову. — Видела. И цярьский дворец видела, и столб каменный. Стоит ли столб-то ноне? — спросила она у меня, и маленькие полинялые глазки ее на мгновение зажглись любопытством. — Вишь ты, все еще стоит, — покачала она головой. — Да и как не стоит. Каменный — чего ему деется.

Морщась, Филиппъевна попробовала разогнуться, потерла рукой поясницу.

— Вишь, вот где у бабушки Питер-то сидит. Так недоростком и осталась. Люди всю жизнь смеялись: «Стопталась, говорят, за дорогу».

— Ты про Питер-то расскажи, — опять начала подсказывать Марья Петровна.

— Чего про Питер-то рассказывать? Я ведь в Питер-то не на гулянку шла. Робятки что в Питере, что у нас, в деревне, одинаково пеленки марают.

— В няньках бабушка жила, — пояснила Марья Петровна. — Год у немца выжила.

Меж тем Филиппьевна уже поднялась на ноги. Марья Петровна засуетилась, открыла старинный буфет, зашуршала бумагой.

— Это гостинцы тебе. Ко дню рожденья, — говорила она, засовывая небольшой сверток в газете за пазуху Филиппьевне.

— А про главное-то и не сказала, — вдруг пробасил с кровати Павел Антонович. — Сарафан-то как?

— Купила, — с досадой ответила старуха. — Все Невсько обошла, а такой же, как у Марьюшки, купила.

— Ну, и подействовал сарафан на ребят? — Павел Антонович, видимо, заранее зная ответ, захохотал.

— Подействовал. До пятидесяти годов в девках сидела.

Марья Петровна с непритворной сердитостью замахала на мужа руками — не растравляй ты, мол, старую рану, но Павел Антонович снова громыхнул:

— Не тот сарафан, наверно, купила.

Филиппьевна не сразу ответила, и Бог знает, чего больше было в ее словах — неизбывной горечи или запоздалой насмешки над собой:

— Меня уж после люди надоумили. Не сарафаном, говорят, взяла Машка, а коровами. У отца-то ейного пять голов было, а у моего-то родителя в то лето ни одной.

Выйдя на крыльцо, Филиппьевна подняла голову и, поднеся к глазам сухую коричневую ладошку, поглядела на небо.

— Это на солнышко смотрит, — сказала со вздохом Марья Петровна. — Сколько, думает, зря просидела. Старорежимная бабушка!

Припав к окну, я долго провожал глазами ковыляющую по песчаной дороге маленькую, одинокую в этот час на деревенской улите старушонку. Шла она мелкими шажками, широко расставляя короткие негнущиеся ноги в кирзовых сапожонках и важно, как на молитве, размахивая руками. Потом, дойдя до старого дома, она завернула за угол.

Пусто, совсем пусто стало на улице. Пахло лесным дымом, чадом, от песчаной дороги несло зноем пустыни, и только еле приметная цепочка следов, проложенная от крыльца к соседнему дому и все еще дымящаяся пылью, указывала на то, что тут недавно прошел человек.

Вот так же когда-то, думал я, проложила свой след на Питер безвестная пинежская девчушка. Давно смыт тот след дождями и временем. Скоро смоем время и самое Филиппьевну. Но хождение ее, как сказка, останется в памяти людей.

Да, хорошо это — оставить по себе хоть крохотную сказку, помогающую жить людям.

1961

Собачья гордость

Лет двадцать назад кто не клял районную глубинку, когда надо было выбраться в большой мир!

Северянин клял вдвойне.

Зимой – недельная мука на санях, в стужу, через кромешные ельники, чуть-чуть озаренные далекими мерцающими звездами. В засушливое лето – тоже не лучше. Мелководные, порожистые речонки, перепаханные весенним половодьем, пересыхают. Пароходик, отмахивающий три-четыре километра в час, постоянно садится на мель: дрожит, трется деревянным днищем о песок, до хрипоты кричит на весь район, взывая о помощи. И хорошо, если поблизости деревня, – тогда мужики, сжалившись, рано или поздно сдернут веревками, а если кругом безлюдье… Потому-то северяне больше полагались на собственную тягу. Батог в руки, котомку за плечи – и бредут, стар и млад, лесным бездорожьем, благо и ночлег под каждым кустом, и даровая ягода в приправу к сухарю. Не то сейчас…

Я люблю наши сельские аэродромы. Людно – пассажир валит валом; иной раз торчишь день и два, с бессильной завистью наблюдая за вольным ястребом над пустынной площадкой летного поля: крутит себе, не связанный никакими причудами местного расписания…

А все-таки хорошо! Пахнет лугом и лесом, бормочет река, оживляя в памяти полузабытые сказки детства…

Так-то раз, в ожидании самолета, бродил я по травянистому берегу Пинеги [река в Архангельской области России], к которой приткнулся деревенский аэродром. День был теплый, солнечный. Пассажиры, великие в своем терпении, как истые северяне, коротали время по старинке. Кто, растянувшись, дремал в тени под кустом, кто резался в «дурака», кто, расположившись табором, нажимал на анекдоты.

Вдруг меня окликнули. Я повернул голову и увидел человека в белой рубахе с расстегнутым воротом. Он лежал, облокотившись, в траве, под маленьким кустиком ивы, и смотрел на меня какими-то тоскливыми, измученными глазами.

– Не узнаёшь?

Человек поднялся, смущенно поправил помятую рубаху. Бледное, не тронутое загаром лицо его было страшно изуродовано: нос раздавлен, свернут в сторону, худые, впалые щеки, кое-где поросшие рыжеватой щетиной, стянуты рубцами…

– Ну как же? Егора Тыркасова забыл…

Бог ты мой! Егор Тыркасов… Да, мне приходилось слышать, что его помяла медведица, но… Просто не верилось, что этот вот худой, облысевший, как-то весь пришибленный человек – тот самый весельчак Егор, первый охотник в районе, которому я отчаянно завидовал в школьные годы.

Жил тогда Егор по одной речке, на глухом выселке, километров за девяносто от ближайшей деревни. Леса по этой речке, пока еще не были вырублены, кишмя кишели зверем и птицей, а сама речка была забита рыбой. Каждую зиму, обычно под Новый год, Егор выезжал из своего логова, как он любил выражаться, в большой свет, то есть в райцентр. Никогда, бывало, не знаешь, когда он нагрянет. Вечер, ночь ли – вдруг грохот под окном: «Ставьте самовар!» – и вслед за тем в белом облаке заиндевевший, но неизменно улыбающийся Егор. И уезжал он так же неожиданно: загуляет, пропьется в пух и в прах – и поминай как звали. Только уж потом кто-нибудь скажет: «Егора вашего видели, домой попадает».

– Да, брат, – сказал Егор, когда мы уселись под кустом, – с войны вернулся как стеклышко. Хоть бы царапнуло где. А тут медведица – будь она неладна… А все из-за себя, по своей дурости. Подранил – хлопнуть бы еще вторым выстрелом, а мне на ум шалости. Так вот, не играй со зверем! – коротко подытожил Егор, как бы исключая дальнейшие расспросы.

Я понял, что ему до смерти надоело рассказывать каждому встречному все одно и то же, и перевел разговор на нейтральную, но всегда близкую для северянина тему:

– Как со зверем нынче? Есть?

– Есть. Куда девался. Люди бьют. – Егор натянуто усмехнулся: – Для меня-то лес заказан. На замке.

Я понимающе закивал головой.

– Думаешь, из-за медведицы? Нет, после того я еще десяток медведей свалил. Руки-ноги целы, а рожа… Что рожа? На медведя идти – не с девкой целоваться. Нет, парень. – Егор глубоко вздохнул. – Утопыш меня сразил. Так сразил… Хуже медведицы размял… Пес у меня был,

Утопышем назывался.

– Да ну?!

– Лучше бы об этом не вспоминать. Беда моей жизни…

Но в конце концов, повздыхав и поморщившись, уступил моей настойчивости.

– Ты на нашем-то выселке не бывал? Речку не знаешь? Рыбная река – даром что с камня на камень прыгает. Утром встанешь, пока баба то да се, ты уж с рыбой. Ну вот, лет, наверно, семь тому назад иду я как-то вечером вдоль реки – сетки ставил. А осень – темень, ничего не видно, дождь сверху сыплет. Ну иду – и ладно, в угор надо подыматься, дом рядом… Что за чемор, – Егор, как человек, выросший в лесу, очень деликатно обращался в разговоре с водяным и прочей нечистью, – что за чемор? Плеск какой-то слышу у берега. Щучонок разыгрался или выдра за рыбой гоняется? Ну, для смеха и полоснул дробью. Нет, слышу опять: тяп-ляп. Ладно. Подошел, чиркнул спичкой. На, у самого берега щенок болтается, никак на сушу выбраться не может. А загадка-то, оказывается, простая. У соседа сука щенилась – пятерых принесла. Ну, известное дело: одного, который побойчее, для себя, а остальных в воду. Я уж после это узнал, а тогда сжалился – больно эта коротыга за жизнь цеплялась! Дома, конечно, ноль внимания. Какой же из него пес? Я даже клички-то собачьей ему не дал. Митька-сынишка: «Утопыш», и мы с женой: «Утопыш». Иной раз даже пнешь, когда под ногами путается. И вот так-то – не помню, на охоту, кажись, торопился – занес на него ногу. А он – что бы ты думал? – цоп меня за валенок. Утопыш – и такой норов! Тут я, пожалуй, и разглядел его впервые. Сам маленький – соплей перешибешь, а весь ощетинился, морда оскалена – чистый зверь. И лапа широкая – подушкой, и грудь не по росту.

«Дарья, – говорю это женке-то, – да ведь он настоящий медвежатник будет. Корми ты его хорошенько».

Ну, Дарья свое дело знает. К весне пес вымахал – загляденье! Только ухо одно упало – дробиной тогда хватило. А у меня в ту пору медвежонок приведись – для забавы парню оставил. Сам знаешь, на выселке пять домов – ребенку только и радость, когда отец с охоты придет. Ну вот, вижу как-то, Минька медвежонка дразнит, палкой тычет. У меня голова-то и заработала. Давай псу живую науку на звере показывать. У самого сердце заходится – зверь беззащитный, на привязи, а раз надо – так надо. И до того я натаскал пса – лютее зверя стал, люди не подходи… Да, этот пес меня озолотил. Десять медведей с ним добыл. Пойду, бывало, в лес – уж если есть зверь, не уйдет. Башкой к тебе или грудиной поставит – вот до чего умный пес был! И еще бы сколько зверя с ним добыл, да сам, дурак, пса загубил…

Эх, винище все!.. – вдруг яростно выругался Егор. – Баба иной раз скажет: «Что уж, говорит, Егор, ученые люди до всего додумались, к звездам лететь собираются, а такого не придумают, чтобы мужика на водку не тянуло». Понимаешь, поставил я зимой капкан на медведя. Из берлоги пестун вышел, а может, шатун какой. Бывают такие медведи. Жиру летом из-за глиста, верно, не наберут и всю зиму шатаются. Да в том году все не так было: считай, и медведь-то по-настоящему не ложился. Ну, поставил, и ладно. Утром, думаю, пока баба обряжается, сбегаю, проверю капкан. Куда там. Еще с вечера на другую тропу наладился. Вишь ты, вечером соседка с лесопункта приехала. На лесопункте, говорит, вино дают. А лесопункт от нас рукой подать – километров двенадцать. Как услыхал я про вино – шабаш. Места себе не найду. Месяца три, наверно, во рту не было. Баба глаз с меня не спускает – при ней соседка говорила. Знает своего благоверного. Слава Богу, четвертый десяток заламываем. Как бы, думаю, сделать так, чтобы без ругани? И бабу обидеть тоже не хочется. А бес, он голову мутит, всякие хитрости подсказывает: «Что, говорю, женка, брюхо у меня разболелось.

Эк урчит – хоть бы до двора добежать». Ну, вышел на крыльцо. Мороз, небо вызвездило. Да я без шапки в одной рубахе и почесал. А баба дома в переживаньях: «С надворья долго нету, заболел, видно». Это она уже после мне рассказывала. Вышла, говорит, на крыльцо: «Егор, Егор!..» А Егор чешет по лесу – только елки мелькают. Ладно, думаю, двенадцать верст не дорога, часа за три обернусь. Ноги-то по морозцу сами несут. Ну, а обратно привезли… Дорвался до винища, нашлись дружки-приятели, день и ночь гулял. Баба на санях приехала, суд навела. Я как выпью – смирнее ягненка делаюсь. Ну, баба в то время и наживается, славно счета предъявляет. А когда тверезый – тут по моим законам. Языком вхолостую поработает, а чтобы до рук дойти – нет. «Я, говорит, пьяного-то, Егор, не тебя бью, а тело твое поганое». Ну, а тогда обработала, а назавтра встал – себя не узнаю. Ино, может, и дружки-приятели подсобили. Ладно, встал – смотрю, а в избе как пусто. Все на месте, а пусто… Далее вспомнил: где у меня Утопыш-то? А так пес завсегда при мне.

«Дарья, говорю, где пес-то?»

«За тобой, наверно, ушел. Как сбежал ты со двора, он тут повыл-повыл ночью, а утром пропал».

Тут меня как громом стукнуло. Вспомнил: ведь у меня капкан поставлен! Бегу, сколько есть мочи, а у самого все в глазах мутится. Следов не видать – пороша выпала. Ну, а дальше плохо и помню… Подбежал к капкану, а в капкане заместо зверя мой Утопыш сидит… Вишь ты, ночь-то он хватился меня: нету. Повыл-повыл и побежал разыскивать. А где разыскивать? Собака худо о хозяине не подумает. Разве ей может прийти такая подлость, чтобы хозяина у водки искать? Она труженица вечная и о хозяине так же думает. Ну, а след-то у меня к капкану свежий. Она, конечно, туда… Увидел я пса в капкане, зашатался, упал на снег, завыл. Ползу к нему навстречу… «Ешь, говорю, меня, сукина сына, Утопыш…»

А он лежит у капкана – нога передняя переломана, промеж зубьев зажата и вся в крови оледенела. А я тебе говорил: пес у меня зверее зверя был, на людей кидался. Баба и та боялась еду давать. Зимой и летом на веревке держал и забыл тебе сказать: я ведь в тот вечер, когда гули-то подкатили, тоже на веревку его посадил. Так он веревку ту перегрыз, ушел, а капкан, конечно, не перегрыз… Ну, приполз я к нему. «Загрызай, пес! Сам погубил тебя».

А он знаешь что сделал? Руку стал мне лизать… Заплакал я тут. Вижу – и у него из глаз слезы.

«Что, говорю, я наделал-то, друг, с тобой?»

А он и в самом деле первый друг мне был. Сколько раз из беды выручал, от верной смерти спасал! А уж работящий-то! Иной раз расхлебенишься, на охоту не выйдешь – сам за тебя план выполняет. То зайца загонит, то лису ущемит. А то как-то у нас волк овцу утащил. Три дня пропадал. Пришел – вся шкура в клочьях – и меня за штаны: пойдем, обидчик наказан. Вот какой пес у меня был, и такого-то пса я сам загубил. Кабы он на меня тогда зарычал, бросился – все бы не так обидно. Стерпел бы какую угодно боль. А тут собака – и еще слезы надо мной проливает… Видно, она меня умнее, дурака, была – даром что речь не дадена. Уж он бы меня сохранил, до такой беды не допустил. Ну, вынул я его из капкана, поднял на руки, понес… Что — нога зажила, а не собака. Раньше на людей кидался, а тут сидит у крыльца, морду задерет кверху и все о чем-то думает. Я уж и привязывать не стал…

Ну, а у меня заданье – план выполнять надо. Охотник – не по своей воле живу. Что делать. Купил я на стороне заместителя. Ладный песик попался, хоть и не медвежатник. Но белку и боровую дичь брал хорошо, – это я знал. И вот тут-то и вышла история… Привел я нового пса домой, стал собираться в лес. Вышел на крыльцо. «Ну, старина, говорю, это Утопышу-то, отдыхай. Больше ты находился на охоту».

Молчит, как всегда. Морда кверху задрана. И только я встал уходить с новым псом со двора, он как кинется вслед за мной. У меня все в глазах завертелось. Гляжу, а новый-то песик уж хрипит – горло перекушено… Знаешь, не вынес он – гордый пес был. Как это чужая собака с его хозяином на охоту пойдет? Не знаю, денег мне жалко стало – пятьсот рублей за песика уплатил – или обида взяла, только я ударил Утопыша ногой. Ударил, да и теперь себе простить не могу. Опрокинулся пес, потом встал на ноги, похромыкал от меня прочь. А через две недели подох. Жрать перестал…

Не знаю, может, я жилу какую ему повредил, когда пнул, да не должно быть. Здоровенный пес был – что ему какой-то пинок? Бывало, сколько раз под медведем лежал, а тут от пинка. Нет. Это, я так думаю, через гордость он свою подох. Не перенес! Видно, он так рассуждал: «Что же ты, сукин сын, меня в капкан словил, да меня же и бьешь? Сам кругом виноватый, а на мне злобу вымещаешь. Ну, так ты меня попомнишь! Попомнишь мою собачью гордость! Навек накажу». И наказал…

Как умер, так я уже больше собаки не заводил. И с охотой распрощался. Без собаки какая охота, а завести другую не могу. Не могу, да и только. Баба ругается: «С ума ты, мужик, сошел. Без охоты чем жить будем?» А я не могу.

Да дело дошло до того, что я дома лишился. Выйду на крыльцо, а мне все пес видится. По ночам вой его слышу. Проснусь: воет.

«Дарья, – тычу ее в бок-то, – чуешь ли?» – «Нет», – говорит. А у меня в ушах до утра вой, и до утра глаза не закрываются. Стал сохнуть, с лица почернел. Ну, баба видит такое дело – надо мужика спасать. Дом на выселках продали, в деревню большую переехали. А я вот, – Егор развел руками, – рыбок у рыбзавода караулить подрядился.

Он снова закурил.

– Напрасно только баба старалась. Тоска одна с этими рыбками. Рыбки… Разве рыбки заменят охотнику лес? А в лес ступить не могу. Утопыш перед глазами стоит. Так вот и мучаюсь… В прошлом году в Архангельск к профессору ездил. Куда там! Все проверил, ринген наводил, анализы все снял. «Здоров», – говорит. По-ихнему здоров, а я жизни лишился… Вот теперь к старичку одному – под Пинегой живет – собрался. Слово, говорят, такое знает – от всего лечит…

Егор замолчал, отвел глаза в сторону.

– Как думаешь, поможет? – спросил он меня.

Я пожал плечами. Да и что я мог ответить ему, жаждущему немедленного исцеления?

Мамониха

Приезд гостей застал тетку Груню явно врасплох, она выбежала на крыльцо босиком, без платка, в старом-престаром сарафанишке аглицкого ситца, какой, бывало, надевала по великим праздникам.

— О, о, кто приехал-то! — запричитала она по-родному, окая, врастяг. — А я ведь думала, уж и ты передумал.

Мокрый от старушечьих поцелуев и слез, Клавдий Иванович шагнул в желанную прохладу

нетопленой избы (тридцать градусов в одиннадцать утра было!), и тут все разом разъяснилось: брат и сестра не приедут — тетка две телеграммы подала ему. На Никодима, как было сказано в телеграмме, неожиданно свалилась важная командировка, а у Татьяны — тоже неожиданно — заболел сын.

Клавдию Ивановичу обидно было до слез. Ведь договаривались же, списывались: нынешним летом собраться под родной отцовской крышей — больше десяти лет не виделись друг с другом. А потом, надо было что-то решать и с самим домом — тетка Груня в каждом письме плакалась: разорили охотники да пастухи ваше строенье, одни стеяы остались, да и тех скоро не будет.

У Клавдия Ивановича было отходчивое сердце, и сам он быстро справился с собой. Ну не приедут и не приедут — что поделаешь? Чего не бывает в жизни? Но жена… Как все это объяснить, втолковать жене?

Полина последние три месяца, можно сказать, только тем и занималась, что шила платья да всякие там женские штуковины — не хотелось ударить лицом в грязь перед столичными. И сколько она денег на это добро извела, так это страшно и выговорить. И вот на тебе — все зря.

Первые минуты за столом сидели, как на похоронах.

Всех — и тетку, и грузную соседку Федотовну, которая приплелась посмотреть на дальних гостей, и, конечно, самого Клавдия Ивановича — всех замораживал мрачный вид Полины.

Оттаяла она немного лишь после того, как пропустили по второму колокольчику.

Тут сразу с облегчением вздохнувший Клавдий Иванович скинул теснившие ногу туфли, снял запотелые носки и начал босиком расхаживать по некрашеному, льняному полу — сколько уж лет не чувствовал под ногой певучей деревянной половицы!

— Походи, походи, Клавдий Иванович, — одобрительно закивала тетка. — Вишь вот, ты в отца ногой-то. У того, бывало, нога не терпела неволи. В чей дом ни зайдет — в свой, в чужой, а первым делом долой сапог да валенок, иначе ему и жизнь не в жизнь…

— Дак ведь не зря босым и звали, — подковырнула Федотовна.

Тетка стеной встала за покойного брата. Дескать, верно, босым звали — у кого раньше прозвища не было, да не босым жил. Ну-ко, кто такое житье имел? Кто в колхоз столько добра сдал? Корову, быка-двухлетка, да кобылу в самой поре, да жеребца выездного, да трои сани, да две телеги…

— Нет, нет, — отрезала тетка, — не по прозвищу величали Ивана Артемьевича, а по фамилии. А фамилья у нас, Устинья Федотовна, сама за себя говорит: Сытины. — И вдруг горько расплакалась. — Все, боле, Клавдя, нету нашей Мамонихи. Одни медведи теперека живут, да еще Соха-горбунья мается.

— Соха-горбунья? Она жива?

— Жива, жива. Всю зиму, бедная, из халупы не вылазит, как в берлоге сидит.

— Давай дак не рыдай, — строго заметила Федотовна. — Нашла о ком плакать. Мало у ей помощников-то…

— Это у Сохи-то помощники?

— А чё? Всю жизнь лешаки да бесы служат, вся погань, вся нечисть у ей на побегушках.

— Не говори чего не надо-то. Всего можно на человека наговорить.

— Да ты где, в каких краях-то выросла?

Разговор становился шумным, крикливым: обе старухи — и тетка, и Федотовна — всю жизнь вот так, ни за что не уступят друг дружке, и Клавдий Иванович с тревогой начал поглядывать на неплотно прикрытую дверь на другую половину, куда незадолго до этого ушла передохнуть Полина с сыном.

Тетка на это чуть заметно покачала головой: не нравилось ей, что племянник под пятой у жены, да, похоже, и Федотовна кое-какую зарубку в своей большой мужикоподобной голове сделала — больно уж сочувственно поглядела на него. Но Клавдий Иванович и ухом не повел.

Пускай себе думают что хотят. Разве они знают, сколько мук приняли Полина и Виктор за дорогу! Целые сутки парились-душились в поезде, да сутки без мала сидели на областном аэродроме, да этот районный автобус, будь он неладен: жара, духота, давка, пылища — рот затыкает…

Спасение пришло от какой-то сопленосой девчушки.

Девчушка вдруг закричала под раскрытым окошком:

— Федотовна, чего расселася, как баржа! Коза у тебя в огороде благим матом орет, вокруг кола запуталась.

— Манька? — Старуха живо вскочила на ноги. — Да пошто запуталась-то? Я токо-токо была у ей. — И вскоре уже, шумно дыша, затопала под окошками.

Когда она наконец выгреблась из заулка, тетка со вздохом сказала:

— Тепере по всему Резанову расславит. Наплетет с три короба.

— А чего ей плести-то?

Тетка обиженно поджала губы: мол, чего в прятки-то играть. Не знаешь разве Федотовну? И разговор перевела на дом:

— Продавать вам надо свою вотчину, покудова пастухи да охотники не спалили. Я весной была — огневище в передней-то избе. Сколько-то камешков, кирпичиков на пол брошено, а на них уголье.

— Да разве печи в избе нету? — вознегодовал Клавдий Иванович.

— А в печи-то неинтересно. А тут бутылка в хайло и огоничком припекает. Как на курорте. Злыдень, злыдень пошел народ. Совсем образ потерял. — И тетка опять принялась толковать про продажу дома.

— А покупатели-то найдутся? — спросил Клавдий Иванович. — Я от райцентра сюда ехал — этого добра, домов нежилых-то, в каждой деревне навалом.

— То старье, дрова. А которые получше да покрепче, те подбирают. У нас Геннадий Матвеевич большие деньги загребает. Сколько уж домов на станцию да в район свез. Был тут как-то. Напиши, говорит, своим умникам, это вам-то: сколько, говорит, еще дом будут мурыжить? Але ждут, когда по ветру пустят? Да он сам и пустит — рука не дрогнет. Знаешь ведь, какого роду-племени.

— Чего-то я, тета, не пойму, о ком ты… — пожал плечами Клавдий Иванович.

— Давай дак чего понимать-то! — загорячилась старуха. — Геха-маз. Матюги-быка сын.

— Да ну! Геха-бык здесь? — Клавдия Ивановича прошибло слезой, и он не стыдился ее: вместе на одной улице росли, вместе в одну школу бегали, вместе в армию в один день призывались… Да разве все перечислишь?

— Здесь, здесь, — сказала тетка. — Только быком-то ноне не зовут — сам прозвище себе заробил. На грузовике ездит, «маз» называется — страсть какой зверь. Мимо-то идет-едет — у меня дом дрожмя дрожит от страху. Вот «маз» от этот и переборол отцовскую кличку. Нынче про «быка»-то никто и не вспомнит.

Тетка, слегка прищурив глаза, вытянула старую белую шею в сторону раскрытого окна.

— В деревню-то въезжали — видел дворец-то каменный, там, где ране дом лесничего был? Ну дак то Геннадия Матвеевича владенья. Да, ни у кого отродясь в Резанове каменных хором не бывало, да и в других деревнях не помню, а он вот, на-ко, построил. Самого лесничего, барина, переплюнул, а про кулаченых, я про тех уж и не говорю — голяки против его. Всех, всех под себя подмял. И людей, и леса. Машинный человек, вся жизнь у его в руках.

— Надо будет как-нибудь заглянуть, — сказал Клавдий Иванович.

— Да не как-нибудь, — возразила тетка, — а сегодня же, сию минуту, ежели хочешь поскорей домой попасть. А то уедет на сенокос але еще куда — ищи его тогда.

Резаново для Клавдия Ивановича было второй родиной. К тетке Груне его начали возить чуть ли не с пеленок, и мог ли он сейчас, выйдя на улицу, удержаться от того, чтобы не обежать деревню, хотя бы ее верхний конец?

Не далеко, не далеко ушагало Резаново от тех деревень, которыми они сегодня проезжали. Нового дома — ни одного на весь конец, а старые разваливались на глазах.

Один клюнул на перед, другой скосило набок, у третьего крыша провалилась — верблюд да и только, а четвертый без окон, без дверей — как сарай… И где бывалошные огороды при домах? Где овцы, которые всегда в жару серыми да черными валунами лежали под окошками, в тени у старых бань, пропахших дымом да банным листом?

Но особенно не по себе стало Клавдию Ивановичу, когда он свернул на задворки да увидел развороченные, распиленные на дрова дворы, в которых раньше держали скот… В сорок седьмом он пастушил в Резанове — сорок три коровы было в верхнем конце у колхозников, а теперь сколько? Неужели ни одной?

Тучи, собравшиеся на сердце, немного разогнала тетка Груня. Старинной выделки человек! Долго ли он огибал верхний конец деревни? Минут десять пятнадцать, ну от силы двадцать, а старуха уж тюкала косой в своем огородишке на задах.

— Коса-то налажена? — весело окликнул ее Клавдий Иванович.

Аграфена Артемьевна не отозвалась. Она вся была в работе. И как для истинно набожного человека во время молитвы ничего не существует вокруг, так не существовало сейчас ничего и для нее.

Знакомой-презнакомой тропинкой Клавдий Иванович обогнул остатки старой конюшни, прорысил мимо зернотока, и вот он, белокаменный домина на отшибе, который давеча из автобуса он принял было за новую больницу.

Место Клавдию Ивановичу было хорошо знакомо. Тут раньше был баринов сад, дремучие заросли черемухи и рябины, и осенью они, школьники, бегали сюда каждую перемену — невпроворот было сладкой да кислой ягоды.

Сейчас от старого сада остались разве старые развесистые березы, да и те были на задах, а спереди дома ни единого деревца, и голые окна ярко, как прожектора, полыхали на солнце.

Клавдий Иванович прикрыл ладонью глаза, бегло скользнул взглядом по машинам (на виду, под самыми окошками, и трактор, и грузовик) и просто ахнул, когда увидел въездные ворота слева — высокие, окованные, выкрашенные зеленой краской, с козырьком.

Да неужели это он все сам сделал? Когда же у него прорезались такие таланты?

Отец Гехи, Матюга-бык, был лодырь, каких свет не сидал. Слыхано ли, к примеру, чтобы в деревне, где лес тебе на каждом шагу на пятки наступает, без дров жить?

А Быки жили. И Клавдий Иванович, хоть и совсем сопленосым ребятенком до войны был, а запомнил, как Маша-ягодка, мать Гехи, однажды утром приперлась к ним со слезной мольбой: дайте охапку дров — печь затопить нечем, ребята замерзают.

Геха по части лени, может, и уступал сколько-то отцу, но по части упрямства наверняка обскакал родителя. После войны, бывало, бригадир чем-либо не угодит — и день, и два, и три дома лежит. Ничем не своротишь. Ни уговорами, ни силой. Да по силе ему из молодняка и равных в Мамонихе не было. Как только встал на ноги, так и начал гвоздить сверстников направо и налево: неси пирога, неси яиц, ежели жить хочешь. А с годами он и вовсе обнаглел — даже со старух подать взыскивал. Закатится это середь бела дня в избу, сядет к столу: «Екимовна, у тебя морковка ничего растет?» — «Ничего чур быть». — «Ну дак нынешней ночью ребята вытопчут». — «Да пошто вытопчут-то? Што я им худого исделала?» — «А уж не знаю чего. Только разговор такой был. А ежели не хочешь, чтобы вытоптали, неси крынку молока. Я покараулю».

И Екимовна — что делать — несла.

Хозяин выскочил из дома, когда Клавдий Иванович еще и близко к дому не подошел: пес залаял. Выскочил, крикпул черно-белому, чуть ли не с теленка кобелю: брысь, сатана! — и пошел навстречу, широко, на целую сажень раскинув руки.

— Клавдюха, да неужто ты? А я гляжу из своего овииа, — вялый, с напускной пренебрежительностью кивок на дом, — кто бы это, думаю? Идет и во все глаза глядит на мой сарай. А потом: да ведь это же из Мамонихи, нашенский — вишь, ухи красные, и оба с дыркой.

Тут Геха хохотнул — целая пасть желтых, прокуренных зубов, один крепче другого, взыграла на солнце:

— Ну, ну, здорово! Поминала тут как-то Грунька: гостей жду…

На мгновение у Клавдия Ивановича перехватило дух — по-медвежьи, обеими руками, облапил, приподнял над землей.

— Так, так, приехал, значит? Это ж сколько же лет ты не заглядывал в родные края? Ну и сердце у тебя… А я слабак, слабак! Я три года отмолотил в Германии и шабаш. Никакого города-разгорода не надо. Домой! Ко своим куликам на болото. А ты, поди, там, в южных краях, как на курорте живешь? Груши, виноград, всякая разлюли-малина… Так? Самим немцам перо в мягкое место вставил? А?

— Виноград у нас не растет. Да и вообще… — Клавдий Иванович махнул рукой. — Какой там курорт, когда цементный завод под боком! Огородишко, и тот еле-еле дышит…

— Да ну! — страшно удивился Геха и тотчас же самодовольно заулыбался. — Тады, — он явно косноязычно, — пойдем, ежели не возражаешь, на мою бедность глянем.

Взбрякала железная щеколда — Геха пропустил вперед гостя. И тут новая собака, точно такой же масти, как первая, гремя цепью, кинулась на Клавдия Ивановича.

Геха пинком отбросил ее в сторону.

— Сволочь! Нашла время усердие показывать! Не видишь — с хозяином?

— Сколько же их у тебя? — спросил Клавдий Иванович, когда немного пришел в себя.

— Собак-то? Три. Есть еще одна для охоты. Балуюсь иной раз. А это так, для бреха.

Клавдий Иванович кивнул на дырявую алюминиевую миску, в которой валялись остатки собачьей еды — две старых картофелины, нечищеных, без всякой приправы.

— Она от голоду у тебя на людей кидается. Неужели ты ее одной картошкой старой кормишь?

— Голова! Накорми ее не старой-то, она лежать будет. А мне надо, чтобы она волком голодным рыскала. Чтобы ни один ворюга сюда не сунулся. Усек? — И тут Геха горделивым, хозяйским движением руки описал перед собой широкое полукружье.

Клавдий Иванович ахнул. Сад! Да еще и сад-то какой! Яблони, груши, сливы, кустарники со всякой ягодой…

— Тянемся помаленьку! — сказал Геха. — Так сказать, наглядный пример по сравнению с довоенным. У барина тут что было? Одна ерундистика. Так? А климат, между прочим, позволяет. Я в Прибалтике и Германии служил — не так, чтобы сто очков нам. Может, зима только помягче. Хорошо. Мы зимой шубы носим, а почему для яблони нельзя какую-нибудь лопотину обмозговать? Мало соломы да тряпья всякого?

Геха не спеша водил его от одного плодового дерева к другому, показывал кусты крыжовника, черноплодки, малины, смородины, таскал по грядкам с клубникой, огурцами и помидорами, и Клавдий Иванович не мог скрыть своего восхищения. Везде, во всем образцовый порядок!

Ни единого сорняка, ни единого клочка пустующей земли.

Все разделано, разрисовано — руками, граблями, солнцем, известью — не сад, а картина.

Но самой большой гордостью хозяина была пасека — пятнадцать ульев в виде крохотных разноцветных домиков, расставленных на задах сада вдоль высокого забора.

С довольной ухмылкой вслушиваясь в пчелиный гул, Геха заметил:

— Ничего поют, а? Ну, возни много. Особенно зимой. Но оправдывает. В цене у нас медок.

Клавдия Ивановича — он, задрав голову, вглядывался в буйно цветущие липы вдоль забора — вдруг озарила догадка.

— Так это ты специально и липы для пчел посадил?

— А — то! Барин тут, бывало, натыкал черемух да рябин, а какой в них толк? Ну, пахнут, ну мусорят. А мне надо, раз я скотинку с крылышками задумал, чтобы корм под рукой был. Но корм кормом, — сказал Геха и подмигнул, — а я еще одну нагрузку для липы дал. В общем, как говорится, сразу два хомута надел.

— Два хомута? — переспросил Клавдий Иванович.

— А как же! В этом-то вся и штука. Так сказать, рационализация по первому классу. — Геха подвел его к ближайшей липе. — Пчелок она кормит, это ты усек — так? А кто же забор держит?

Да, да, да! Высоченный забор из островерхих досок, обвитых колючей проволокой, держался на стволах лип и тополей. В общем, такого живого забора Клавдий Иванович еще в жизни своей не видал, и от удивления он только головой покачивал.

Геха торжествовал:

— Одобряешь, значит, мое рацпредложение? Подходяще? Ха-ха! Помнишь, у нас, бывало, Оська-копыто все хотел медведя с коровой случить. Чтобы зимой, значит, без корма скотина жила? Ну дак я по его стопам пошел.

Хорошо было в саду! Пятнистая тень, солнце и воздух — не надышишься. Но пора было подумать и о деле.

Куда там! Геха и слышать не хотел ни о каких делах.

Столько-то лет не виделись, да что он, турок какой, чтобы своего земляка да еще кореша так отпустить из дома!

Одним словом, пошли в дом. И тут новый начался смотр. Просторная веранда с крашеным полом, вместительные сени с кладовкой, прихожая, кухня, передние комнаты…

Хоромы барина, стоявшие на этом месте, сожгли местные сопливые революционеры еще в гражданскую войну, задолго до появления на свет Клавдия Ивановича, но были ли они лучше и богаче Гехиного дома — это еще вопрос. По крайней мере Клавдий Иванович в этом не был уверен.

— Я, — высказался сам Геха по этому поводу, — решил крест на дереве поставить. А что? У немцев вон все дома каменные, а мы, победители, в каких-то деревянных хлевушках живем. Нет, пора кончать с деревянной Русью — правильно я говорю?

— Правильно-то правильно, — сказал Клавдий Иванович, — да ведь кирпич-то каких денег

стоит. Да и где он у нас?

— А это уж поворачиваться надо. Будешь поворачиваться, и кирпич будет. И копейка не из кармана, а в карман покатится.

Хозяйка, не в пример мужу, худющая, неразговорчивая, с каким-то постным лицом, тем временем схлопотала закусить, и Клавдий Иванович, как только пропустили по стопке, опять заговорил о своем деле, то есть о машине.

На этот раз Геха выслушал его до конца.

— Нет, — коротко качнул головой, — сегодня не могу. Сегодня ко мне из района начальство обещалось приехать, а может, еще и из области кое-кто будет. На рыбалку везти надо. А вот завтра-послезавтра — в любое время. Да чего ты в эту дыру рвешься? Погости у нас. Ежели у тетки не нравится, давай ко мне. По-моему, у меня жилплощадь позволяет, а?

— Первую ночь хочу в отцовском доме ночевать.

Геха снисходительно улыбнулся.

— Эх ты, голова два уха! Ничему, вижу, жизнь не научила. Ну-ну, валяй! Комары там давно скучают по тебе.

Клавдий Иванович надумал добираться своим ходом.

Для вещишек у тетки в сарае нашлась старая двухколесная тележка, на каких еще в его времена колхозники возили для себя дрова, сено и всякую всячину. А сами они разве без ног? Да это же одно удовольствие пробежаться по лесу в такую сушь, как нынешняя!

Правда, Полина, когда он заговорил об этом, взвилась было на дыбы. Как! Мало они натерпелись за эти дни, так еще по лесам, по болотам пробежки делать! Да пропади пропадом и вся ваша Мамониха, коли на то пошло!

Но тетка быстро вразумила ее.

— Я не знаю, Полина Фомишна, — сказала строго и чинно тетка, — может, в ваших местах и принято на мужиках ездить, а у нас уж ты, матушка, потерпи. У нас, у Сытиных, мужик всему голова. И ты ежели не ради самого мужа, дак ради людей не срами его. Приехал из-за тридевяти земель и на-ко — семь верст до родительского дому не дошел. Да что люди-то скажут?

И вот выступили в поход. Полина и Виктор, понятно, налегке, а он с тележкой. Легко впрягся, даже с каким-то интересом. Ну-ко вспомним старые времена. Бывало, лошади в колхозе не допросишься, по месяцам ходишь в оглоблях.

Но Полину именно тележка-то пуще всего и выводила из себя. Потому что какой же порядочный человек впряжется сегодня в колымагу! Да будь с ними Никодим, они бы не просто на машине ехали, а еще бы и с почетом — в сопровождении самого директора совхоза, а то и покрупнее шишки.

Клавдий Иванович из кожи лез, чтобы хоть немного развеселить жену. Он то и дело кивал на залитый солнцем сосняк, которым шла дорога («Смотрите, смотрите! Как в кино красота!»), рассказывал о том, как бегал по этой дороге, когда учился в резановской семилетке, соблазнял

жену и сына земляникой («Ну-ко, подайтесь немножко в сторону! Разве не чуете, как пахнет?») — все бесполезно. Полина шагала впереди, ни разу не обернувшись к нему, красивая, полнотелая, рыжие волосы вразброс по широкой, с желобом спине, а Виктор, тот, похоже, совсем раскис. Десять лет парню, собачонкой бы надо бегать да виться вокруг, а он — пых-пых. Употел, ужарел — хуже старика. А все мамочкины пончики. Сколько раз он говорил: нельзя закармливать ребенка. В школе ест, дома ест, к матери в садик придет — ест, вот его и развезло…

По сторонам стали попадаться первые ели и березы, первые комарики заныли над головой — приближались сырые места.

— Тут маленько дорога помягче будет, — предупредил Клавдий Иванович, — но это ничего, сухо сей год.

Молча, как неживые, перевалили за Тошкин холм, где когда-то зимой, по рассказам, замерз пьяный мужик из Мамонихи, и уперлись в густой темный ельник.

Полина и Виктор остановились как вкопанные.

— Ну чего там еще? — бодрым голосом крикнул шагавший сзади Клавдий Иванович. — Медведя увидели?

Он с удовольствием выпустил из горевших ладоней рукоятки тележки и, на ходу заправляя рукой потные, растрепавшиеся волосы, подошел к жене и сыну.

Грязь. Черная, крутая, как вар, — во всю дорогу.

— Теперь ты понял, почему у твоей сестрицы срочно заболел ребенок, а брата твоего в срочную командировку угнали?

Клавдий Иванович, избегая сердитого взгляда жены, виновато сказал:

— Раньше тут в это время никакой грязи не было. Это, вишь, трактор дорогу размял.

— Спасибо, утешил! — фыркнула Полина и начала снимать туфли.

Виктор захныкал:

— Мам, неужели туда пойдем?

— Эх ты, герой! Да тут и грязи-то с гулькин нос, а ежели обочиной, то как по асфальту. Смотри ведь, какая сушина.

Все это, понятно, Клавдий Иванович говорил не столько для сына, сколько для жены, но разве Полина когда слушала его?

Туфли в руку и прямо в грязь.

— Ма-ма-а! — заорал на весь лес Виктор.

А мама — знать никого не хочу! — хлоп-хлоп по середке дороги. Как перегруженная лошадь. В теле баба.

И в конце концов Клавдий Иванович подхватил на руки орущего, насмерть перепуганного

сына, перенес его по боковой тропке за грязь (сухо было, как он и думал, даже туфель не замочил), а потом перетащил вещички, переволок тележку.

Дорога, слава Богу, опять мало-помалу наладилась, начались пахучие воронихинские папоротники, а затем и сам Воронихин ручей голос подал. Как журавлик весенний прокурлыкал — радостно, взахлеб: узнал, наверно.

На зеленом, ласковом бережку они сели передохнуть — тут исстари все, кто идет из Резанова, отдыхают. Напились, умылись, обмыли ноги. Полина и Виктор даже с едой разобрались. А ему не шла на ум никакая еда. Он как услыхал этот с детства знакомый говор ручья, так больше и думать ни о чем не мог.

«Домой, домой!» — выговаривал ручей, и в конце концов Клавдий Иванович не выдержал, вскочил на ноги.

— Вы не торопитесь. Идите потихоньку — тут рядом Мамониха, а я покамест разведку боем сделаю.

И вот — неслыханное дело — бросил посреди незнакомого леса жену с сыном, а сам вперед, вперед. Как мальчишка, как самый распоследний дурак.

Опомнился, когда вкатился в первые поля Мамонихи, а вернее, в осинник.

Да, лежат на земле остатки въездных ворот, ходят, как прежде, высоко в небе во все крыло распластанные ястребы, а где поля, где пашни, которые он когда-то пахал и боронил?

Полей нет. На полях шумит и лопочет густо разросшийся осинник.

У Сытиных был заведен обычай: родился в семье ребенок — сажай дерево под окошками.

Так в разное время были посажены кедр Никодим, березка Татьяна, рябина Марья, черемуха Анна (последние обе умерли в детстве) и только оскребышок, то есть Клавдий Иванович, остался без зеленой отметины на земле. Потому что он появился на свет в тридцать третьем году, когда люди умирали с голоду, и до игры ли, до забавы ли было отцу?

Упущение хозяина исправила мать, когда Клавдий Иванович был уже в армии. Незадолго до своей смерти мать написала ему, что у него теперь тоже есть свое дерево возле родительского дома — тополек.

И вот первое, что увидел сейчас Клавдий Иванович, подходя к родному дому, был тот самый тополек. Вымахал, разросся, всех задавил: и кедр, и березу, и рябину, и черемуху. Просто зеленый богатырь над домом — рокотом, тополиной песней встретил их.

Зато уж сам дом не сразу и признаешь. Боковой избы, в которой зимой жили, когда морозили тараканов, нет, хлев и сарай порушены, крыша с крыльца сорвана. А что делалось внутри дома! Он думал, ради красного словца давеча шерстила тетка пастухов. Нет, правда: черное огневище посреди избы. Не поленились — кирпичи притащили с улицы, на полу ечаг выложили. Потому что в печи-то дрова запалить и дурак сумеет, а ты вот догадайся без печи избу вытопить!

Мать, бывало, в самые трудные времена, когда с голоду пухли, выгребала на каждую пасху грязь из избы.

Надраит, наскоблит сосновый потолок и сосновые стены — в самую непогодь в избе солнце. А сейчас изба как черная баня: все просмолено, все в черной саже.

Несколько привлекательнее выглядела другая половина. Тут уцелели старинная никелированная кровать, на которой спал еще дед Артемий, стол, и еще сразу бросилось Клавдию Ивановичу в глаза железное кольцо в потолке. Кольцо, в котором висел березовый очеп с его зыбкой.

— Вот как отец-то у тебя, Виктор, рос... В зыбке качался... — начал было объяснять Клавдий Иванович сыну и вдруг всхлипнул.

Полина рассудительно заметила:

— Может, сперва делом займемся, а потом про зыбки-то рассказывать.

Да, да, да, спохватился Клавдий Иванович. Дел у них невпроворот. Четыре часа пополудни, а сколько им надо перелопатить всякой всячины!

Перво-наперво выгребли самую большую грязь из избы да затопили печи — веселее, даже в жару веселее, когда жилым в доме пахнет. Потом Клавдий Иванович принес от зарода (рядом, за домом стоял) охапку сена. Для постелей. Сено свеженькое, душистое, нынешнего укоса — эх, хорошо будет спать!

— Не носи покуда в дом-то, — встретила его у крыльца жена. С ведром в руке (где только и раздобыла), с подоткнутым подолом.

— Да ты никак полы мыть надумала?

— А то. Неуж в грязи будем жить? — И пошагала к колодцу.

Колодец у них был с журавлем, про какие в Полининых степных краях и слыхом не слыхали, и Клавдий Иванович крикнул:

— Подожди, я помогу!

Но Полина и не подумала ждать его. С ходу обеими руками ухватилась за шест и давай, и давай загружать деревянное ведро.

— А мне что делать? — весело, с задором крикнул Клавдий Иванович. Крикнул только для того, чтобы поскорее в семье водворилось окончательное согласие.

— А ты траву выкоси! — миролюбиво сказала Полина.

— Есть траву выкосить!

Клавдий Иванович схватил стоявшую возле крыльца еще давеча отысканную на повети и наточенную старую косу и пошел гвоздить направо и налево.

На траву не смотрел (сроду в ладах с крестьянской работой) и на Виктора, захныкавшего где-то сзади, не обращал внимания. Равнение только на жену!

У Клавдия Ивановича на работе — а он пятнадцать лет без мала бригадирил в тепличо-овощном хозяйстве завода — частенько заходили разговоры: надоела старая заигранная пластинка, хорошо бы вспомнить молодость, приударить за свеженькой. И ударяли. После

выходного то один, то другой, то третий выхвалялся своими встречами на стороне.

Клавдий Иванович этого не понимал. Для него в жизни не было большей радости, чем видеть свою жену, смотреть, как она управляется с домашними делами: варит, стряпает, моет полы, шьет, а когда он, вернувшись домой позже обычного, заставал ее в постели — румяную, разогретую, с рыжими распущенными по белоснежной подушке волосами, он просто возносился на небеса.

В дом Полины он попал вместе со своим сослуживцем Борисом Огаревым, и, помнится, когда они первый раз оказались у нее в комнате — чистой, светлой, с цветами, с белой, как рождественский сугроб, кроватью, над которой висел вышитый коврик — олениха с олененком, — у него захватило дух: ничего в жизни краше не видел. И уж, само собой, насчет молодой хозяйки он никаких планов не строил. Куда там — такая красавица! Да и у Бориса губа не дура — сразу стал чертом увиваться. А что он перед Борисом? Мешок с картошкой, цыпленок против орла!

Нет, нет, он уж и тем доволен был, что в те нечастые дни, когда получал увольнительную, мог заходить в этот дом, посидеть в этом раю.

Правда, сидел-то он немного. Борис каждый раз еще дорогой предупреждал его: «Создай мне обстановочку».

То есть поменьше торчи возле них с Полиной. А потом, ему и самому как-то неловко было сидеть без дела. Мать у Полины больна, брат да сестра малые, сама Полина на части разрывается, чтобы заработать лишнюю копейку, — всегда с шитьем, всегда с вязаньем, а ведь было еще хозяйство: огородишко, поросенок, куры, дрова. И вот у них с Борисом быстро распределились обязанности: Борис с Полиной в комнате — развлекает ее, зубы заговаривает, а он, Клавдий Иванович, то с дровами возится, то в огородишке копается, то хлев для поросенка ладит, то еще что. И Полину он обычно только и видел, когда заглядывал в дом перед уходом, да еще когда она выходила к нему, чтобы взглянуть на его работу.

Однажды, примерно за месяц до демобилизации, Борис сказал Клавдию Ивановичу:

— Поработай сегодня над своим видиком. Я Полину на абордаж брать буду.

Ну что ж, подумал Клавдий Иванович, так оно и должно было все кончиться — ихней свадьбой. Ведь это же круглым идиотом быть надо, чтобы упустить такую девку!

Пошли. Взяли две бутылки вина (одну даже шампанского), торт, цветы.

Борис, едва зашли в дом, с ходу: так и так, мол, дорогая Полина, один хомут скоро сымаю, хочу надеть другой, то есть выходи за меня замуж.

Полина на это усмехнулась, потом вдруг вся посерьезнела и покачала головой:

— Нет, Борис, за тебя замуж не пойду, а вот за Клавдия пошла бы.

Свадьба была скромная, тихая. Брат Никодим и сестра Татьяна не приехали, а родственникам Полины Клавдий Иванович не понравился. И он понимал почему: больно уж жалок, больно уж невзрачен был он в своей новой, не по росту длинной солдатской гимнастерке по сравнению с пышной, как яблоня в цвету, красавицей невестой.

Полина под конец, видно, тоже одумалась и, когда они остались вдвоем, разревелась навзрыд.

И это была самая ужасная минута в его жизни. За все без мала сорок лет.

Быстро, за каких-нибудь три часа привели дом в божеский вид. Во всяком случае, на первое время было где прислонить голову, укрыться от дождя и от комаров.

А это — главное. Все остальное образуется постепенно.

Довольные, счастливые (даже Виктор перестал скулить), Сытины сели за свои первый ужин в Мамонихе.

— Ну как, Виктор, — пошутил Клавдии Иванович, — хорошо ест тот, кто хорошо поработает?

— Ага, — ответил Виктор, с аппетитом, за обе щеки уминая свежий огурец — из тех, что дала тетка Груня.

Сам Клавдий Иванович тоже ел с удовольствием, но в мыслях, давно уже был на деревне (это ведь Бог знает что — сколько уже часов на мамониховской земле, а в самой Мамонихе еще и не был) и в конце концов вскочил, даже не допив стакана чая.

— Вы как хотите, а я больше не могу. Должен пробежаться по деревне.

Виктор, к немалому удивлению его, тоже увязался за отцом.

Усадьба Сытиных стояла на отшибе, и на деревню раньше вела торная, хорошо наезженная дорога. А сейчас Клавдий Иванович сунулся туда-сюда — нет дороги.

Повсюду какая-то реденькая, худосочная ржица вперемежку с жирным, уже остаревшим пыреем. «Наверно, тут поле раньше было, а это самосев», подумал Клавдий Иванович и побрел напрямик к первому дому.

Первый дом принадлежал Павлу Васильевичу, Лидиному отцу, и Клавдий Иванович, как только увидел старинные двухэтажные хоромы с белыми кружевными наличниками, слегка подрумяненными вечерним солнцем, так сразу и забарахтался в заводях прошлого. Все вспомнил. Вспомнил, как в детстве они с Лидой наперегонки — зимой, босиком — бегали друг к другу в гости, вспомнил, как позднее он был влюблен в Лиду и как Лида зло высмеивала его в частушках…

После войны всех парней из Мамонихи взяли в армию — кривых, косоглазых, беспалых, кого не в строевые войска, так в железнодорожные, в стройбаты, а его забраковали. Недомерок. Ростом не вышел.

И Лида первая запела:

Ой, ребята-кавалеры,
Отодвиньтеся от нас:
Мой миленок всех пониже,
Мне не видно из-за вас.

А как потешалась, как издевалась та же Лида над ним, когда его отправили на откормочный пункт! Были такие после войны для призывников. Специально ставили на откорм тех, кого особенно ушибла война, кто не вышел телом. Подобно тому как в колхозах ставили на откорм телят, которых нужно было сдать в госзакуп.

Но дело, конечно, не в унижениях, не в позоре, который он пережил тогда, — все это теперь в прошлом. А что стало с Лидой? Где она сейчас? Как сложилась ее жизнь?

Ведь та же самая Лида, когда он уже кончал службу в армии и был женихом Полины, какое письмо прислала ему?

«Клавдя, я до краю больше дожила в этой Мамонихе, скоро весь свет белый прокляну. А у тебя паспорт теперь будет, вывези меня, Бога ради, отсюда — хоть женой, хоть как — я на все согласна».

Дом Павла Васильевича был еще сносный, вполне годявый для житья, но что поразило Клавдия Ивановича?

Незаколоченные окошки с выбитыми стеклами. И он живо представил себе, как уезжала Лида из родного дома. До того, видно, все опостылело, все обрыдло, что даже окон не заколотила.

— Пап, — тихо и оробело заговорил Виктор (должно быть, и ему не по себе стало при виде пустых, черных глазниц), а чего это растет? — Он указал на крапиву, которая высокой стеной, как ельник, окружала крыльцо.

— Крапива.

— А у нас дома не такая.

— Поменьше, хочешь сказать? Так ведь эта крапива, знаешь, что тут делает? Вход в дом злым людям преграждает.

— Да? — Виктор внимательно посмотрел на отца и взял его за руку.

С этой минуты они так — рука в руке — и шли по мертвой Мамонихе. Шли вдоль домов высокой, слегка выброшенной и присохшей травой.

И молчали. Негоже болтать на кладбище (это, видно, понимал даже Виктор), а нынешняя Мамониха похожа была на кладбище.

И даже тополя вверху над крышами, многие почему-то с посохшими верхушками, пели как-то скорбно и заунывно, совсем-совсем не в духе этого жизнерадостного, жизнелюбивого дерева.

Хуже подворья, чем у Сохи-горбуньи, в Мамонихе не было. Избушечка на задах, со всех сторон подперта подпорами, околенки допотопные, в аршин, да и те вкось, а по нынешним временам, когда все кругом порушено да задичало, и Сохина развалюха — жилье.

К ней приятно было подходить. Тропка с обеих сторон обкошена, заулок тоже начисто выкошен, и столько на лужайке возле ветхого, но чистенького крылечка кипело всякой пернатой мелочи, что ветер заходил вокруг, когда она тучей взмыла вверх.

Клавдий Иванович не очень верил во всякие россказни насчет Сохи-горбуньи, но, берясь за скобу, все-таки подбодрил себя шуткой:

— Ну, Виктор, не робей! Сейчас саму Бабу Ягу увидишь.

Натужно прошаркала по старым половицам одна осевшая дверь, прошаркала другая, а дальше все было как в сказке: старуха горбатая, кот, курочка-ряба с выводком желтых попискивающих цыплятюк…

— Ну, спасибо, спасибо, Клавдий Иванович, что зашел… А я гляжу, дымок у Ивана Артемьевича над крышей закурился — кого Бог дал…

Клавдий Иванович обнял старуху, прослезился, а Виктор, тот вдруг выпалил:

— Здравствуй, Бабушка Яга!

Клавдия Ивановича в пот бросило от такой бойкости сына, но баба Соха — так по-новому окрестил для себя старуху Клавдий Иванович — и не думала обижаться.

— Яга, Яга, милый. Как не Яга. Хромая, горбатая, бывалошная, вся мохом обросла. Так, так, родимушко.

— А колдовать вы тоже умеете, бабушка? — еще больше осмелев, спросил Виктор.

— А вот насчет колдованья-то, дитятко, я неважная Баба Яга. Кабы колдованье да знахарство ведала, я бы что первым делом сделала? А ногу да горб себе вылечила, а то вишь вот, всю жизнь на одной ноге скачу да людей пугаю…

Баба Соха жила по старинке и начала с угощенья.

Все выставила на стол, чем богата была: свежепросольные рыжики, маленькие, копеечные, какими всегда славилась Мамониха, спелую, красную землянику (полнехоньку крынку!), северную мед-янтарную морошку…

У Виктора при виде этой свежей, благоухающей лесовины просто ноздри заходили, да и Клавдий Иванович не стал отказываться: сколько уж лет ничего этого не было во рту.

— Ну вот, — сказала довольная баба Соха, когда они все зачистили до последней ягодки, до последнего грибка, — теперь можно и гостей пытать-спрашивать.

— Можно, можно, баба Соха. Приехали вот навестить родные Палестины.

— Ну, узнал вотчину, узнал Мамониху?

— Да как тебе и сказать… От старого-то разве что один ястреб в небе остался… Все заросло, все задичало.

— Все, — кивнула старуха. — Береза да осина разбойничают — на крыши уж лезут. Поминать, видно, деда Прокопья. Тот, бывало, когда деревню после пожара заново отстраивали, все говорил: «Зря, мужики, надрываетесь. Не жить Мамонихе. Не от огня, дак от куста погибнет».

— Так и говорил?

— Так.

— А я вот что заметил: возле иных домов тополя сохнут.

— Сохнут, — опять кивнула старуха.

— А чего им надо?

— Тополям-то? А кто их знает чего. Может, по хозяевам своим тоскуют, которые их сажали.

— Это деревья-то тоскуют?

С улицы донесся крик — не иначе как там Виктор гонял птичек, но Клавдий Иванович даже в окошко не посмотрел. Пускай забавляется. Чего ему томиться в духоте.

И он, осторожно пошевелив ногами, которые щекотно поклевывали попискивающие цыплятки, опять подался глазами к бабе Сохе.

— А ты-то как тут? Все одна да одна…

— А что поделаешь, Клавдий Иванович? Так уж мне на роду написано. Тяжело, тяжело зимой-то. Снегом занесет, засыплет с окошками — не знаешь, что и на свете деется, — не то ночь, не то день. По неделям из избы не выходишь. Тут который год снежно было, пензию из сельсовета принесли, двадцать рублей дадено, и попасть ко мне не могли. Так и ушли обратно. Ну, а ты-то как, Клавдий Иванович? В теплых краях, говорят, живешь — поди и насчет дровец стараться не надо?

— Не надо. Углем топим. Каменным.

— А-а, вишь как ты устроился. На городах, значит. Все ноне перемешалось. Не поймешь, куда утка, куда селезень. Бывало, у меня брат-покойничек в Ярославле жил — уж на что при деле при хорошем был. Старший приказчик у купцов Красулиных. Нет, прощай злато-серебро, прощай хоромы каменные — в Мамониху, в леса родные поеду. А нонека все на сторону, все в города думают попасть. Где посытнее да повольготнее. Не видал там, на городах-то, Лидию Павловну?

— Это ты про Лиду Павла Васильевича? — живо переспросил Клавдий Иванович.

— Про Лиду. Про соседку твою. Тоже в ту сторону подалась за счастьем. Не знаю, чего у ей получилось, нет.

— А чего не получилось-то? У людей получается, а у ее нет?..

— Да ведь она с кем в город-то уехала? С Котей Курой.

— С Котей? Это с печником-то, который в районе печи клал?

— С ним. Пьяница забубенный, чуть не в два раза старше ей…

— Да что она, с ума спятила?

— А от ейной жизни, пожалуй, спятишь. Сперва матерь разбило параличом, а потом тетку. Тетку за матерью-то ухаживать привезла из района, а тетка — подумай — до полугода не выстояла на ногах, тоже бок отнялся, тоже колодой слегла. И вот девка-то у меня взвыла. Все бегут, уезжают из Мамонихи, а она как привязанная. У ей колхозны телята на руках — целый двор, дома — одна колода лежачая, другая… И вот, смотрю, у меня Лидия Павловна уж в бутылку заглядывать стала да курить почала, худым словом кидаться… Нет, нет, — вздохнула старуха, — я нисколешенько не сужу. Ну-ко, девять лет мучиться — не жить. Это в ее-то годы! Ну-ко, девять лет кажинный день из-под двух старух навоз выгребать. Да она до того, бедная, домаялась, что самой жизни не рада стала. Ко мне напоследок прибежала: «Баинька, — все меня баинькой звала, — баинька, говорит, я ведь с Котей Курой в город собралась». Что ж, говорю, матерь да тетку успокоила. Теперь сама знаешь, как жить. А чего буду отговаривать? Двадцать девять лет девке — чего тут высидишь? Какой королевич к тебе

залетит? Вот так и уехала у нас Лидия Павловна. «Мне, говорит, пачпорт бы только схлопотать, а там-то я знаю, что делать…» Не знаю, не знаю, как там ей теперь. Подфартило, нет на новых-то местах…

Клавдий Иванович вышел от бабы Сохи, когда уж догорал день. Красное, раскаленное солнце село в темный ельник за ихним домом, и казалось, там, в еловой чаще, затаилась сама сказочная жар-птица. Да тот ельник, бывало, так и звали у них: жаровец.

Клавдия Ивановича пошатывало. Он сам попросил у бабы Сохи какой-нибудь выпивки, потому что такая тоска вдруг навалилась на него, так жалко вдруг стало Лиду, что хоть криком кричи.

Лида Мамонова была у них первая красавица, первая ученица в школе. Евстолия Васильевна, старая учительница по математике, когда ставила им очередные двойки, вздыхала: «Что поделаешь, картошка глупее хлеба». То есть я не ругаю вас, ребята. Понимаю, из-за чего на ровном месте буксуют у вас мозги. Из-за того, что картошкой да травой питаетесь. И как радовалась, как молодела та же самая Евстолия Васильевна, когда дело доходило до Лиды! «Нет, нет, ребята, — говорила она, — у меня в классе такого умного и хлеба никогда не бывало, как эта картошка. Вот помяните мое слово: картошка эта прославит и себя, и всех нас». И вот прославила… За Котю Куру вышла…

Клавдий Иванович не был виноват в Лидиной беде — ну что он мог поделать, когда уж был женихом Полины?

Ведь именно тогда пришло то страшное письмо от Лиды.

И все-таки, все-таки… может, и он виноват?..

Выйдя с задворок на деревню, он запел:

Бывало, вспашешь пашенку,
Лошадок уберешь,
А сам тропой знакомою
В заветный дом идешь…

Хотелось песней, любимой песней отца встряхнуть себя, взбодрить свой дух перед встречей с женой, которую он оставил одну в чужом доме.

— Полинушка, Виктор! Вы не ругайте меня, ну? Я маленько нос прищемил… Понимаете, ха-ха?

Клавдий Иванович перевалил за порог избы, прошел на другую половину и в сумерках увидел жену и сына — как голубки в обнимку сидят на кровати.

От умиления его прошибло слезой:

— А я, ребятки, вам огонька принес от бабы Сохи. С огоньком-то повеселее будет, верно? — И он полез в карман за свечкой, которой разжился у старухи.

— Па-па-а…

В голосе Виктора Клавдию Ивановичу послышалась капризная плаксивость, и он тотчас же напустил на себя строгость:

— Сын! Будь настоящим человеком…

— Да помолчи ты, Бога ради, со своим настоящим человеком! — вдруг расплакалась Полина. — Разве не чуешь, что с сыном-то делается?

И тут, словно в подтверждение слов матери, Виктор удушливо закашлял, натужно задышал.

Клавдий Иванович вмиг отрезвел. Неужели, неужели опять то же самое, что было три года назад? Три года назад летом они отдыхали в деревне, недалеко от ихнего поселка. Все было хорошо: купались, загорали, валялись на песке, на свеженькой травке, и вдруг раз вечером, дня за два до возвращения домой, с Виктором стало худо — просто на глазах стал задыхаться ребенок. Они с Полиной перепугались насмерть, думали, им и до поликлиники его не довезти. Но довезли, отходили парня. А вот что это за болезнь была, отчего она — они так толком и не узнали…

— Чего стоишь-то, как пень? Ждать будешь, когда ребенок задохнется? Ходишь, ходишь по всяким колдуньям — может, она отравила его?

— Да не говори ты ничего-то, Поля. С чего баба-то Соха будет нас отравлять? Баба Соха огонька ему послала.

Клавдий Иванович зажег свечу, укрепил ее в стеклянной банке из-под компота.

— Ну вот так, так, сын. Со светом-то повеселее, а? Со светом-то, скажи, можно жить…

— Па-а-п-а-а…

Клавдий Иванович сунул банку со свечой на стол, выбежал на улицу. Он еще надеялся по-первости: какая-нибудь ерунда у Виктора, сама собой пройдет, но крик был такой хриплый, такой умоляющий, что сомнений больше не оставалось: прежнее удушье, то самое, что было тогда в деревне.

На улице меж тем густела темнота. Он кинулся бежать по дороге в Резаново, но вскоре одумался. Семь верст до Резанова — когда же он обернется? Да и что он найдет в Резанове? Одна бригада совхозная — в лучшем случае медсестра есть…

Он решил бежать на станцию. До станции дальше, десять километров, но там наверняка найдется врач.

Солнце уже окончательно закатилось, туман легким парком расползался по полям. Клавдий Иванович, путаясь в повлажневшей траве, пробежал ложбину, выбежал к дому Павла Васильевича и начал одолевать травяную реку, то есть деревенскую улицу.

Трава на улице была в пояс — жирное тут место, но темные масы домов еще можно было различить, а за деревней темнота накрыла его, как мешком. И куда податься? Как тут идти на станцию?

Сперва он стучал в наружные двери — руками, ногами, поленом, потом начал стучать в окошко, которое с трудом, на ощупь отыскал в темноте, а потом уж стал просто умолять:

— Баба Соха, открой… Баба Соха, открой…

И вот только на слово отозвалась старуха.

— Баба Соха, баба Соха, помоги! С ребенком, с сыном худо…

— Да что с ним, с сыном-то?

— Не знаем. Второй раз уж так. Дышать не может… Задыхается… Пойдем скорее… — И Клавдий Иванович нетерпеливо схватил в темноте старуху за руку.

— Нет, нет, — сказала старуха. — Не помощница я. К врачам надоть.

Клавдии Иванович чуть не разрыдался.

— Да где они, врачи-то? На станцию бежать надо. А болезнь-то не ждет.

— Ну и от меня пользы не будет.

— Да почему? Раньше-то помогала. Я сам помню.

— То раньше. Раньше-то у меня сила была.

— Да ты понимаешь, нет, баба Соха? — уже криком закричал Клавдий Иванович. — Ребенок у нас задыхается. Понимаешь это?

И, не слушая больше старуху, он силой поволок ее за собой.

До деревни добрались легко: по дорожке. А дальше, когда кончилась дорожка, начали тыкаться в темноте, как слепые котята. Уверенность появилась лишь после того, как впереди из темноты вдруг подал голос его, Клавдия Ивановича, тополь — птичьей стаей взыграла взъерошенная ветром листва.

Полина пришла в ужас, когда на пороге увидела горбатую старуху.

— Не дам, не дам ребенка! — закричала дурным голосом. — Я куда посылала-то тебя? За врачом. А ты кого привел?

Но тут уж баба Соха сказала свое слово:

— Загунь! Не пугай ребенка-то.

А когда подошла к Виктору (тот тоже по-первости насмерть перепугался), заговорила ласково-ласково. Как летней водой начала окачивать.

— Не бойся, не бойся, золотко. Бабушка тебе здоровья принесла. Где у тебя болит-то? Горлышко… Дыханья нету… Будет, будет дыханье, родимый…

Слабо, как далекий вздох, как утренний ветерок в листве, прошелестели давно знакомые слова: «Стану я, раба Божья…», и Клавдий Иванович подумал, может, и права была старуха, когда наотрез отказывалась идти к ним?

Может, и в самом деле из нее ушла сила? Но он в тот же миг подавил в себе эти сомнения, потому что кто еще, как не она, может сейчас помочь Виктору?

И удивительно: голос старухи тотчас же стал наливаться силой, и слова пошли такие, что в дрожь, в озноб стали кидать его:

— Исполохи, переполохи, порчи, уроки, всякие прикосы… Идите в пенье, в коренье, в грязи топучи, в ключи кипучи… Там вам вариться, там вам кипятиться, под осиновый кол уйти,

камнем накрыться, землей завалиться, мохом-травой зарасти…

Клавдий Иванович посмотрел на жену. Может, все это только ему кажется? Может, все это только далекие детские страхи, которые вдруг ожили в нем?

Нет, и Полина была во власти этих слов, во власти трубного голоса старухи. И она, как околдованная, не дыша, широко раскрытыми глазами глядела на нее.

Три раза читала баба Соха, три раза заклинала хворобы и боли, тихонько водя темной рукой по горлу и груди Виктора, и тот, похоже, уже не хрипел, не задыхался, как прежде.

— Пи-ить, — вдруг подал он слабый голос.

Клавдий Иванович бросился на другую половину за водой, но Полина еще раньше запаслась питьем.

Виктора напоили.

— А тепере, — сказала баба Соха, — ты, отец, выйди за дом, сруби осиновый кол с топорище длиной да тот кол забей в землю вместе с хворобами. Да чтобы тот кол никто никогда не вытащил.

Клавдий Иванович понимал, что тут уже начинается какая-то чертовщина, но что не сделаешь ради своего ребенка! Да и баба Соха — как с ней спорить? Все была ветошная, беспомощная старушонка и вдруг разрослась, расползлась по всей стене, как туча в бурю…

Он думал, в темноте ему во веки веков не выбраться за дом. Но выбрался. И даже в кустарнике, густо разросшемся за домом, отыскал осинку — по горьковатому запаху коры, по лакированным, вздрагивающим в темноте листьям. В общем, сделал все так, как приказала старуха.

И вот награда, вот счастье: Виктор, когда он, весь перемокший, вошел в дом, был уже в безопасности. Он понял это, еще не видя его. Понял по лицу жены, такому счастливому и доброму, какое он, может быть, видел у нее только один раз в жизни — когда пришел в родильный дом поздравлять ее с долгожданным сыном.

* * *

Старуха еле-еле, опираясь на батог и на Клавдия Ивановича, добрела до своего подворья, а на крыльцо и подняться не смогла — села.

— Ну, выручила, выручила ты нас, баба Соха. Спасибо! — Клавдий Иванович уже с короб наговорил этих спасиб старухе, а они так и набегали, так и набегали на язык. — А то ведь я давеча — хоть караул кричи. Виктор задыхается, врача нету, и ты уперлась — с места не сдвинешь.

— Не занимаюсь я ноне этими делами.

— И зря. У нас — три года назад вот так же случилось — врачи целую ночь возились с Виктором, а ты вон как: руками поводила, сказала слово, и здоров.

Клавдий Иванович по старинке, на всякий случай сплюнул за левое плечо и, уже совсем расчувствовавшись, сказал с легкой усмешкой:

— Давай, баба Соха, выкладывай свои диагнозы. Ну что за болезнь такая? Как ее вышибать? А то ведь эти ученые только руками разводят. Аллергия не аллергия, обмен веществ… Не поймешь.

Старуха вздохнула в темноте, но ничего не ответила.

— Чего молчишь? Я ведь тебя спрашиваю ради ребенка, а не ради того, чтобы у тебя секреты выуживать.

— А что я скажу тебе, Клавдий Иванович? Много ли я знаю? Молитва, да травка, да наговорное слово — вот и все мое леченье.

Старуха уклонялась от прямого разговора, это ему было ясно, и он начал подбираться издалека, с напуском эдакого туманна:

— А интересно, баба Соха, где это ты все вызнала? Ну это самое… руду-кровь заговаривать, переполохи снимать, присухи… У нас, к примеру, сейчас курсы разные, техникумы. На шоферов, на тех же самых фельдшеров. Так? А вот ты, к примеру? Где ты всю эту премудрость выучила?

— Меня, парень, нужда заставила. В жизнь-то меня выпихнули горбатой да хромой, отец пьяный еще ребенком на пол с рук уронил, а чем кормиться, чем от людей борониться? Люди не любят уродов да калек. Одни ребятишки по глупости заклюют, каменьем закидают. И вот сжалился надо мной, убогой, один добрый старик, Васей-килой звали.

— Это колдун-то который? — Клавдий Иванович с внезапной робостью посмотрел в темноту перед собой. Он не застал уже в живых Васю-килу, но в детстве для него ничего страшнее не было этого имени.

Баба Соха слегка оживилась:

— Я сама больше всех на свете его боялась. Раз хожу в лесу, ягоды собираю — только мне и жизни было, только мне и отрады, что в лесу, дерево да куст не изгиляются, — и вдруг из-за ели старик. Вася-кила. Весь белый, весь косматый, клюка в руке. Я так и села от страха. А он подошел ко мне да рукой по голове, как малого ребенка: «Что ты, говорит, глупенькая? Чего испугалась? Хочешь, говорит, чтобы тебя люди не обижали, надо, говорит, чтобы не ты людей боялась, а люди тебя. Страх людской, говорит, твой корм и оборона».

— Это как понять?

Старуха словно не расслышала его.

— Поучил меня маленько дед Василий, и слову наговерному поучил, и травкам. Знающий был человек. А теперь все боле. Нету силы. Из Мамонихи ушла сила, и из меня ушла.

— Как, как? Что ты сказала? Из Мамонихи ушла сила, и из тебя ушла?

— Так. Покуда Мамониха в силе была, и я в силе была. А как начали из Мамонихи кровь выпускать, так и я ни на что гожа не стала.

— Вот как! А я думал, это ты про старость говоришь. От старости силы не стало.

— Старость не радость, кто не знает, а не приведи Бог видеть, как на твоих глазах родная

деревня умирает. Сперва один дом пустеет, потом другой, потом третий… Да сами-то дома, еще Бог с ними. А то ведь дом умирает, и хозяин иной раз умирает. Василия-то Егоровича помнишь?

— Это в верхнем-то конце который жил?

— В верхнем. Нету больше. В прошлом году приехал с женой, как ты, об эту пору. «Уж так хорошо, так хорошо живем! Свой дом, свой сад. Дети все ученые, большие деньги зарабатывают! Я, говорит, и жизни в Мамонихе не видал, только сейчас на старости лет и увидел». Ну лат, — но, две недели пожили, стали в дальнюю дорогу собираться, где-то далеко живут. Вот к воротам-то полевым вышли, за деревню, Василий-то Егорович и говорит жене: «Марья, говорит, я ведь, говорит, вьюшку в трубе не закрыл». — «Ну и Бог с ней, с вьюшкой-то, — говорит Марья. — Дом погибает, а ты о вьюшке думаешь». — «Нет, говорит, надо закрыть вьюшку». Убежал — полчаса нету, час нету.

Марья не знает, что и подумать. Пошла домой: где у меня мужик-то? А мужик-от у ей в избе висит.

— Повесился?

— Повесился.

— Да, — сказал Клавдий Иванович, — веселую ты сказку рассказала.

— За веселыми-то сказками нынче едут на сторону, а в нашей деревне какие теперь сказки? Деревни, парень, без сказок помирают. Это сказки-то сказывают да песни поют, когда строятся, когда жизнь заводят заново.

* * *

Это было самое счастливое утро в его жизни. Проснулся, открыл глаза, а в потолке железное витое кольцо, в котором когда-то висел березовый очеп с его зыбкой. А когда встал да вышел на крыльцо — и того краше картина: жена. Развалилась, растеляшилась на красном одеяле посреди заулка — рыба белая играет на солнышке. А в небе прямо над Полиной коршун. Чертит и чертит круг за кругом — должно быть, тоже залюбовался.

— Виктор где? — весело крикнул Клавдий Иванович, сбегая с крыльца.

— Тут где-то был. — Полина нехотя оторвала от подушки рыжую голову с черными очками во все лицо, повела туда-сюда: — Виктор, Виктор…

— Я здесь, мам! Малину ем.

Виктор кричал на задах, в кустарнике, и Клавдий Иванович сиганул туда — напрямик, через дикие заросли собачьей дудки, буйно разросшейся на бывшем капустнике, — земля тут жирная, каждый год унаваживали.

— Ну как, сынок? Здоров? Ничего не болит?

Виктор не ответил, а промычал: ему было не до разговоров. Он, как медвежонок, дорвавшийся до лакомой ягоды, с треском, с жадностью раздвигал одну ветку за другой.

Клавдий Иванович рад был за сына, рад, что Виктор снова полон жизни, снова выказывает свой

отменный аппетит. Только вот как привыкнуть ко всему этому — к этой малине, к этому ольшанику и осиннику за своим домом?

Ведь ничего этого двадцать лет назад и в помине не было.

И Клавдий Иванович, переводя взгляд с кустарника на родные хоромы, невесело подумал: пропал, пропал дом.

Ежели даже люди пощадят, лес задавит. Лес, который стеной со всех сторон наступает на Мамониху…

— Пап, пап! — Виктор подавал голос уже где-то у Вертушихи.

— Ну что еще?

— Иди, иди скорей! Я домик нашел.

— Какой домик?

Раздвигая руками не просохший еще от росы малинник, Клавдий Иванович вышел к речке и увидел сына возле их старой бани, черной, насквозь продымленной, с малюсеньким окошечком без рамки, с деревянным держаком в дверях вместо скобы.

— Да ты что, Виктор? Какой это домик? Это же баня!

— Баня?..

— Ну, сын! Ты, как иностранец, в отцовской деревне…

А в общем-то, что же удивляться? Откуда Виктору знать, что такое старая деревенская баня, когда он видит ее впервые?

Клавдий Иванович открыл перекосившиеся, на деревянной пяте дверцы (Ах, знакомая музыка! Коростели запели вокруг), заглянул в сенцы, заглянул в баню — все еще попахивало прежней горечью — и вдруг загорелся:

— А знаешь что, Виктор! Давай-ко мы с тобой раскочегарим эту старушку, а?

Быстро, как по щучьему веленью, появились дрова в каменке, взбурлила вода в котле — рядом речка.

— Сынок, ты тут хозяйничай, посматривай за всем, а я сбегаю в лес за свежим веником.

— А я тоже с тобой, папа.

— Нет, нет, я один. С тобой в другой раз. Обязательно пойдем.

Клавдий Иванович скатился по недавно натоптанной тропинке к Вертушихе, перешел ее вброд — невелика у них и река, в засушье ворона перебредет, не замочив крыла, — и в ёру, дремучие заросли ольшаника и осинника, первые леса своего детства, где в те далекие времена видимо-невидимо было всякой нечисти и чертовщины и где он ставил свои первые петли на зайцев.

Раньше у них березняк был далеконько, за добрую версту ходили за вениками, а сейчас он из ёры вышел и жуть сколько этого ласкового куста все Поречье, все покосы завалило. И вот

Клавдий Иванович завязал с ходу два веника и куда побежал? Домой, восвояси? Вперед.

Рядом Пахомкова гарь — веселые, поросшие пружинистым вереском горушки и веретейки, где когда-то еще ребенком собирал грибы да ягоды, — так неужели не посмотреть, что там сейчас деется, неужели не побывать?

А раз на Пахомковы горы поднялся (и так называли в Мамонихе это урочище), в Мамину зыбку — хочешь не хочешь — свалишься. Эдакая лесная перина из зеленого моха в котловине — да тут держать не удержать! А за Маминой зыбкой вынырнула Антохина раскопка — тоже есть чем вспомнить, хороший хлеб родился! А за Антохиной раскопкой Вырвей, лесной ручей песни распевает, а Вырвей перешел — сразу три дороги, три росстани. Как в сказке. Не знаешь, по какой и идти.

И вот так скок-поскок — где дорожкой, как в старину, кипящей трудолюбивыми мурашами, где травой, где моховиной — Клавдий Иванович и утянулся в глуби мамонихинские.

Все заросло кустом, все задичало, от прежнего, иной раз казалось, только и остались разве что имена да названия. Зато какие имена, какие названия! Для каждого бугорка, для каждого перелеска и тропки у стариков нашлось свое имя, свое название. Любили люди свою землю, свои родные места. Пахомкова гарь, Мамина зыбка, Поречье, Антохины раскопки — вкусно выговорить!

А нынче? Ихний поселок, к примеру, взять. Не последний населенный пункт в стране, в города скоро, говорят, выйдет, а что за народ живет? Три озера в окрестностях, три озера, в которых худо-бедно рыбу удят, а как зовут эти озера? Карьер № 1, карьер № 2, карьер № 3. По тем временам еще, когда тут песок да щебенку для цемента добывали. И так же с дорогами. Асфальтом залиты, яблонями обсажены, весной как невесты в белом цвету, а имен для них у людей не нашлось. Тоже по номерам зовут.

Пора, однако, было образумиться, повернуть назад — Виктор и так заждался его. Клавдий Иванович свернул направо, к Михееву усу — то же расстояние, да зато новые места. И вот эта-то жадность его и подвела.

Посекло Михеев ус. Где видно тропинку, нащупаешь ногами, а где начисто затянуло мхом, кустарником. А потом еще одна напасть вскоре объявилась — пошли Гехины дороги; широкие просеки, проложенные трактором посреди леса.

Клавдий Иванович запрыгал, как козел, от одной колеи к другой, начал тыкаться туда-сюда, и кончилось тем, что заблудился…

* * *

Матюниха была рядом. Он это знал, чувствовал — не мог же за какие-то двадцать-тридцать минут укатить Бог знает куда, да и места вокруг вроде знакомы были. А на тропу не попасть — моховина, болото, травники. И ели такие густые да высоченные, будто тут уже сумерки.

Его разбирал смех: надо же, в трех елях запутался, а с другой стороны и беспокойство мало-помалу стало закрадываться в душу. Что там с Виктором? Догадается ли Полина проведать его?

Наконец какая-то твердь появилась под ногами, а потом и еще один компас — просветы меж деревьев.

Клавдий Иванович рванул на эти просветы, и вот тебе на — Поречье. Мыкался, путался в траве, обливался потом, и все это, как он и думал, рядом с Поречьем, рядом с Мамонихой. В прежние времена непременно сказали бы: нечистая сила закружила, а то еще бы и бабу Соху приплели. А теперь кого винить?

С деревни в это время докатился какой-то непонятный треск и гул, похожий на шум работающего мотора.

«Кто-то из Резанова, верно, приехал», — подумал Клавдий Иванович и прямо травяной целиной порыснл к знакомой сухой березе, которая стояла неподалеку от Вертушихи, напротив ихнего дома.

Однако не успел он и десяти шагов сделать, как страшный грохот сотряс землю.

Перепуганный насмерть («Где Полина? Где Виктор?») Клавдий Иванович с ходу взял речушку, одним духом взлетел на крутой берег и просто ахнул: тополь, его тополь лежит на земле.

— Стой! Стой! — закричал он мужику, орудовавшему бензопилой в палисаднике.

Опоздал: кедр грохнулся на землю.

Вытирая со лба пот (с головы до ног взмок), он подошел к дому и кого же увидел? Геху-маза. Все деревья в палисаднике — тополь, черемуха, рябина, кедр — все лежат повержены, все распяты, а он стоит. Стоит, как заново выросшее дерево — огромный, в резиновых сапогах с длинными голенищами, натянутыми до пахов, и улыбается.

— Ты что это делаешь? Кто тебе разрешил?

— А чего я делаю? Свет людям дал. Я зашел в избу, как в могиле у вас.

— Это не твое дело! Дома хозяйничай. Виктор, — Клавдий Иванович только сейчас заметил в сторонке приунывшего сына, — а ты-то куда смотрел? Ведь я же тебе рассказывал, что это за деревья. Дядя Никодим, тетя Таня…

Виктор заплакал.

— Давай, давай, поплачьте оба вместе. Ах, бедненькие… Ах, кустиков жалко!.. — Геха захохотал.

— Да чего ты ржешь-то? Эти кустики-то, знаешь, кто садил? Отец еще. До войны…

— А теперь какая команда у нас насчет этих кустиков? Не знаешь?

— Будет, будет вам, петухи! — К ним подошла Полина. — Чего за кусты держаться, раз дом продаем? С собой не возьмем, хоть золотые бы они, эти кусты, были.

— Понял, как умные-то люди на это смотрят? — Ухмыляясь, Геха поднял с земли бензопилу, сказал, глядя веселыми глазами на Полину: — Может, еще чего сделать? Хочешь, Невский проспект проложу к Вертушихе? Чтобы по утрам, когда на водные процедуры пойдешь, не колоть свои белые. Давай, покуда сердце горит. Для тебя всю Мамониху распушу.

— Нет, нет, не надо, — сказала Полина, но слова Гехины понравились: блеском взыграли глаза.

— Ну как хошь. А то я своего конягу взнуздаю, — Геха кивнул на могучий гусеничный трактор,

густо, до половины кабины заляпанный грязью, — моменталом сделаю.

* * *

Геха выставил две бутылки «столичной» — остатки, как он сказал, от ночного заседания с начальством, то есть от рыбалки, с которой он прямо, не заезжая домой, заявился к ним, но и Полина не ударила лицом в грязь — тоже бутылкой хлопнула.

Где, когда она раздобыла это добро — на аэродроме, в райцентре, покуда он бегал к знакомым, Клавдий Иванович не знал, да разве и в этом дело? Главное, что спесь сбили. А то ведь на стол свои бутылки начал метать, будто тут нищие живут.

И еще Полина сразила Геху своими нарядами. Всё по самому высшему классу: красные штаны в струночку, белые туфельки на высоком каблуке, белая кофточка с золотым поясом змейкой. Ну, прямо артистка вышла к столу.

По правде сказать, у Клавдия Ивановича не было большой охоты бражничать с Гехой, но как же было уклониться, ежели тот сам первый предложил? Что ни говори — гость. Да и Полина сразу загорелась: ведь надо же кому-то хоть раз показать свои наряды!

Расположились на вольном воздухе, на свежевыкошенной поляне за колодцем, под молоденькой рябинкой.

— Ну, как говорится, будем здоровы, — сказал Геха и легко, как воду, опрокинул в себя стакан водки. Затем сплюнул, ничем не закусывая, и начал торг без всякого подхода.

— Косых три, пожалуй, за эти дрова дам, — сказал он и пренебрежительно, не глядя, кивнул в сторону дома.

Полина (она, конечно, взялась за дело — бухгалтер, всю жизнь имеет дело с материальными ценностями) спокойно улыбнулась:

— Ну, а насерьез, без трепа?

— Чего насерьез? Мало сейчас дров валяется по деревням!

— Дров-то много. Да таких домов, как наш, один. На станцию отвезешь — сколько возьмешь?

— Сколько? — ухмыльнулся Геха.

— А тысячи две с половиной — самое малое.

— Тю-тю! Сдурела баба…

— Ладно, ладно, зубы-то не заговаривай. Не таких видали.

— А мы вот таких не видали, — сказал Геха и хлопнул Клавдия Ивановича по плечу. — Эх, и везет же чувакам! Да откуда ты только такую и выкопал?

Клавдий Иванович, горделиво улыбаясь, только головой покрутил. Не уважал он Геху, ни теперь, ни раньше не уважал, но слова его елеем пролились на сердце.

— Ладно, — сказал решительно Геха и трахнул своей пятипалой кувалдой по ихнему хлипкому столику — фанерному ящику из-под конфет, — пей мою кровь! Еще сотнягу накину. Только

ради тебя, ради твоих симпатичных глазок.

— Девятьсот, — сказала Полина.

Пошли страсти-мордасти, потел торг. Геха, все время игравший в парня-рубаху, начал горячиться, он даже выматюкался, и Полина, хотя и по-прежнему улыбалась, тоже мало-помалу стала накаляться — красные пятна пошли по лицу.

Наконец она и вовсе сорвалась:

— А ты чего сидишь как именинник?

Клавдий Иванович напустил на себя деловой вид:

— Думаю, действительно надо…

— Да чего надо-то? — еще пуще распалилась Полина.

Геха захохотал во всю свою широкую, жарко горевшую на солнце пасть, а Виктор вдруг завопил от радости:

— Бабушка Яга, Бабушка Яга!

Клавдий Иванович глянул на деревню — баба Соха.

Вывернулась из-за дома Павла Васильевича и к ним. Как старая лошадь, мотает головой. И белый платок так и играет над ржищем. Видать, по всем правилам в гости собралась, во все праздничное вынарядилась.

Но что это? Старуха вдруг повернула назад.

Клавдий Иванович закричал:

— Баба Соха, баба Соха, да куда же ты?

— Не надрывайся, не придет, — сплюнул Геха.

— Да почему?

— А потому, что там, где я с МАЗом — ей дороги нету. Нечисть всякая терпеть не может железа да бензина.

— Не говори ерунду-то.

— Ерунду? Да ты что — в Америке родился? Не знаешь, сколько она, стерва старая, народу перепортила?

Тому килу посадила, того к бабе присушила, у того корову испортила… А нынче людей нету, дак она что сделала? На птице да на звере вздумала фокусы свои показывать. Пойди-ко послушай охотников. Стоном стонут, которые этим живут. Пера не найдешь за Мамонихой. Всю птицу разогнала. Чтобы ни тебе, ни мне.

— А по-моему, дак это твоя работа. Я недавно Михеевьм усом прошелся — весь бор перерыт-перепахан, весь лес провонял бензином. Дак с чего же тут будет птица жить? Кусты-то, и те

скорчились. Листы, как тряпки, висят…

— Ай-ай, опять слезы по кустикам. Дались тебе эти кустики. Мне тут одна книжечка попалась — ну, в каждом стишке плач по этим кустикам. Особенно насчет березы белой разора много. Береза — ах, березонька, стой, березонька, свет очей… А мы от этого света слепнем, мы из-за этой березоньки караул кричим. Все поля, все пожни, сука, завалила! А ты — кустики…

— Да я не о кустиках, а о Мамонихе. Вон ведь ее до чего довели. Посмотри!

— А кто довел-то, кто? — резко, в упор спросил Геха.

— Кто-кто… Думаю, разъяснений не требуется…

— А ты разъясни, разъясни. Молчишь? Ну дак я разъясню. Ты!

— Я? Я Мамониху-то до ручки довел? Да я двадцать лет в Мамонихе не был!

— Во-во! Ты двадцать лет не был, да другой двадцать, да третий… Дак какая тут жизнь будет? Критиковать-то вы мастера… Ездит вашего брата — каждое лето. Ах-ох, то худо, это худо… Геха-маз загубил… Да ежели хочешь знать, дак только благодаря Гехе-то-мазу тут и жизнь-то еще пышет! Та же твоя тетка да Федотовна… Да не привези я дров — зимой, как тараканы, замерзнут…

— Ну, ну будет, — воззвала к миру Полина. — Худо вам — под рябинкой сидим?

— Нет уж, выкладывать, дак выкладывать все, — с прежним запалом заговорил Геха. — Не от первого слышу: Геха как в раю живет. А я каждый день на трактор сажусь как на танк. Как на бой выхожу. Баба провожает — крестит: вернусь аль нет. Толька Опарин из Житова в прошлом году заехал в эти березки белые, а там яма, чаруса — теперь там лежит. Понятно, нет, о чем говорю?

— Понятно, понятно! — сердито сказала Полина. И у нее кончилось терпенье. — В одной деревне выросли, а кроме лая ничего от вас не услышишь.

— А и верно, мы не в ту сторону потащили, — моментально сдался Геха и протянул свою темную ручищу: — Ну дак что-ударили? А то ведь я могу и передумать.

— Чего передумать? — переспросил Клавдий Иванович.

— Да насчет твоих дров.

— Папа, папа, не продавай!

Выкрик сына словно вздыбил Клавдия Ивановича, и он с неожиданной для себя решимостью сказал:

— И не продам. Об этих дровах, может, у отца последняя дума была, когда умирал на фронте, а я Иуда, по-твоему? Так?

В наступившей тишине вдали, у дома, шумно взыграли тополиные листья, по которым пробежал ветерок, и стихли.

— Дак что же — отбой? — спросил Геха, обращаясь к Полине.

Полина вопросительно посмотрела на мужа, но Клавдий Иванович, почувствовав новую поддержку сына (тот крепко, изо всех сил сжимал его руку), не пошатнулся.

И тогда Геха сказал:

— Ну что ж, не захотели взять рубли, возьмете копейки.

* * *

Полина объявила бойкот. Это всегда так, когда чуть что не по ней: глаза в землю, язык на замок и никого не слышу, никого не вижу.

Клавдий Иванович землю носом рыл, чтобы угодить жене. Он истопил баню, сбегал на станцию за свежими огурцами и помидорами, даже две курочки раздобыл в соседней деревушке, а уж о свежей лесовине и говорить нечего: грибы да ягоды у них не переводились. Нет, все не в счет, все не в зачет.

И вот какой характер у человека — даже своего любимчика не жаловала. И на бедного, растерянного Виктора жалко было смотреть: и мать от него стеной отгородилась, и к отцовскому берегу пристать решимости не хватало.

Самому Клавдию Ивановичу душу отогревать удавалось у бабы Сохи.

Утром он выйдет из дома, вроде как в лес, за подножным провиантом, а сам перейдет Вертушиху и к старухе.

Задами. Заново натоптанной тропкой.

С бабой Сохой можно было разматываться на полную катушку — все поймет, не осудит. И он разматывался.

Обо всем без утайки говорил: о своем житье-бытье с Полиной, о Лиде, о Гехе.

Но вот что было удивительно! Как только он заводил речь об отцовском доме — а ведь именно из-за дома весь нынешний сыр-бор разгорелся, из-за дома у него война в семье, — так баба Соха отводила в сторону глаза.

Клавдий Иванович горячился:

— Я что-то не пойму тебя, баба Соха. Неужто ты хочешь, чтобы я своими руками раскатал отцовский дом? Да я, может, еще в Мамонихе-то жить буду! Сама же рассказывала, как брат у тебя на старости лет домой вернулся.

— Дак ведь то когда было-то.

— Неважно. Сейчас команда на подъем всей русской жизни. Чтобы все земли, какие заброшены да заросли кустарником, снова пахать да засевать. Это тут у вас умники объявили: Мамониха кончилась, Мамониха неперспективна. А сейчас — стоп! Сдай назад. А то ведь эдак всю Россию можно неперспективной сделать. Правильно говорю?

— Не знаю, не знаю, Клавдий Иванович, — вздыхала старуха. — А только не советую тебе срываться с насиженного места.

— Почему?

— А тяжело нынче жить в деревне.

— Тяжело… А дедам нашим легче было? Одной лопатой, да топором, да сохой раскапывали здешние поля. А нынче сколько техники всякой, машин!

— Много, много нынче машин, — соглашалась старуха, — да люди нынче другие. Балованные. Легкой жизни хотят.

— Ничего, — стоял на своем Клавдий Иванович, — и нынче всякие люди. Мы с тобой, к примеру, всего хлебнули: и войны, и голода, и холода. Забыла, как после войны тошнотики ели — колобушки из картошки, которую собирали па полях весной? А в чем ходили — помнишь?

Однажды Клавдий Иванович, который уже раз в душе оплакивая судьбу Лиды, признался старухе;

— А я все не могу понять, баба Соха, как это она с Курой-то связалась. Как подумаю, так и голова кругом.

— А что ей было делать-то? Ты из армии не вернулся.

— Я? Да я-то при чем?

— Ждала она тебя.

— Лида? Лида меня ждала? — Клавдий Иванович перестал дышать.

— Парато ждала. Все говорила, бывало: «Вот Клавдя вернется, и мы заживем». Она так и Гехе сказала, когда тот замуж ее звал.

— Геха звал… Лиду?

— Звал. Приступом приступал. Думает: я Лиду от его отвела, потому и жизни мне от его нету, а я уж словечушка поперек не сказала. Сама. Сама. Ни в какую: «У меня, говорит, Клавдя есть. Я, говорит, Клавдю жду».

Клавдий Иванович, как во сне, вышел от старухи.

Лида, Лида его ждала… Ихняя принцесса, первая ученица школы, девочка, с которой они еще детьми бегали зимой от дома к дому: наперегонки — кто быстрее да проворнее. И он представил себе, чего стоило гордой, своенравной Лиде написать ему отчаянное, унизительное письмо, в котором она предлагала ему себя…

В тот день он долго, предаваясь воспоминаниям, бродил по невыкошенным пожням Поречья, по заросшим полям, по ягодным ручьям и горушкам — по всем местам, где бывал с Лидой. Затем вспомнил, как они подростками вместе с мамониховскими ребятами и девчонками бегали на вечеринки в окрестные деревушки — ни голодуха, ни работа, ничто не могло убить в них молодость, нараставшую жизнь, — и уже под вечер отправился в окрестные починки, хутора, деревни.

Густо стояли селенья в их лесном краю, по душе пришлась дедам и отцам поднятая из-под корня землица, и был, не был достаток в дому, а названия селеньям давали сытные, хлебные. Ржаново, Овсянникн, Ржище, Калачи…

Калачи и раньше не Бог весть какой населенный пункт был — на пальцах двух рук

пересчитаешь дома, и Клавдий Иванович не очень удивился, когда на месте деревни нашел один заколоченный дом. Давно заколоченный, может быть, еще в пятидесятые годы, потому что не только крыша сгнила — доски, которыми были забиты окна, выгорели, истлели да выкрошились. Но Ржаново его поразило. Большая по ихним местам деревня, в двадцать пять-тридцать домов — и богатая без дураков. После войны в самое голодное время тут можно было на тряпку хлеб выменять. И меняли. Мать Клавдия Ивановича всю оставшуюся от отца одежонку сносила в Ржаново.

Но сейчас не было жизни и в Ржанове. Да и самого Ржанова, считай, не было. Два домишка в верхнем конце, дом посредине, три в нижнем — да разве это Ржаново? Да и дома-то уцелевшие были не из лучших, так что сразу было ясно: хорошие перевезли. Либо на центральную усадьбу совхоза, либо на станцию, в райцентр. И тут, надо полагать, дело не обошлось без Гехи.

Но нет, в Ржанове жизнь все же была. Сперва Клавдий Иванович услышал звук топора — самой желанной музыкой рассыпался в нежилой тишине — вот как пустой-то деревней шагать, а затем увидел и человека. На обочине, у самого выезда из деревни, там, где бежал знакомый проселок, над которым теперь густым розовым облаком клубилась пыль — должно быть, только что проехала машина.

Человек брусил топором толстое бревно, наверняка сухостойное, накрепко просмолевшее, потому что топор не ухал, а звенел, да и щепа, отлетавшая в сторону, была мелкая.

— Чего-то не пойму, ради чего пот проливаем? — сказал Клавдий Иванович вместо приветствия.

Человек разогнулся. Немолодой уже, пожалуй, даже пенсионного возраста, но еще в силе — дышал ровно и такие добрые, такие хорошие глаза были у него.

— А я, думаешь, понимаю? — легонько воткнул топор в бревно, посмотрел на деревню, вернее, на то, что осталось от деревни. — Думка-то у меня — память оставить о Ржанове.

— Так это вы что же — памятник в честь Ржанова хотите сделать?

— Памятник не памятник, а что-то вроде поминальника. На этот вот столб хочу щит, обтянутый алюминием, набить, а на щите коротко все данные о Ржанове: когда, кем основано, сколько жителей было, кто на войне голову сложил…

Роман Васильевич — так звали мужика — постучал слегка носком окованного башмака по бревну и спросил:

— Как думаете, пару десятков лет постоит?

Бревно было лиственничное, из прочнейшей древесины, и Клавдий Иванович, тоже для порядка постукав его ботинком, живо воскликнул:

— Как не постоит! Лиственница. Все пятьдесят выстоит.

— Пятьдесят не надо. Это я на то время, пока эта канитель с укрупнением да разукрупнением сел идет. А то ведь будущие люди, которые сюда придут, не будут знать, кто тут и жил. История исчезнет.

— А вы думаете — Ржаново возродится? — волнуясь, спросил Клавдий Иванович.

— Возродится. Обязательно возродится. А как же? К двухтысячному году, ученые подсчитали, население планеты удвоится, в два раза вырастет, а тут, что же, кустарник выращивать будут?

Роман Васильевич оказался рассудительным, знающим человеком (шутка сказать: тридцать два года инженером на больших или великих стройках, как их раньше называли, проработал), и Клавдий Иванович, всю жизнь тянувшийся к образованным людям, всласть наговорился — простой был человек, не задирал нос.

Домой он пришел в потемках. Виктор уже посапывал в своем углу, а Полина — Бог ее знает — может, тоже спала или по-прежнему дулась на него. Во всяком случае, никак не прореагировала на его возвращение.

Ему хотелось есть, весь день ничего, кроме ягод, во рту не было, но он не решился разбираться с едой. Быстренько разделся, быстренько растер тело руками (чтобы не застудить жену) и лег к ней с краешка. На него сразу же дохнуло как из духовки — ужасно раскалялась в постели Полина, и у него по привычке возникло желание с ходу, бесшабашно броситься в этот жар. Но он сдержался — жена не любила мальчишества. А вскоре он и вовсе забыл про нее и начал перекатывать в мыслях сегодняшний день.

Семь дней прошло со времени его приезда в Мамониху, а что он сделал? Побродил по деревне, прошелся по окрестностям… Нет, нет, не то. Тот же Роман Васильевич что надумал? Ржаново увековечить. Эх, надо и ему об этом самом поминальнике подумать. Мамониха — разве не деревня? Разве у нее нет своей истории, своего прошлого?

Как, как он сказал? — пытался припомнить Клавдий Иванович мудреные слова Романа Васильевича. — «Как бы за нашими перестройками русская история не исчезла… И русский ландшафт… Да, да, говорил Роман Васильевич, будет, будет новое поле. Будут рожать и Мамониха, и Ржаново, и Калачи… Но я хочу, чтобы у этого нового поля было русское лицо…»

Под конец, когда уж у Клавдия Ивановича начали путаться мысли в отуманенной сном голове, он опять вспомнил о Лиде. И это было впервые, впервые за все семнадцать лет их совместной жизни он подумал о другой женщине.

* * *

Виктор первый проснулся от дождя.

— Мама, мама, что это на меня капает?

Клавдий Иванович торопливо зажег лампу: с потолка струей лилась вода. Он выбежал на крыльцо: жуткий ливень. Шагу нельзя ступить в сторону.

С этой минуты они уже больше не спали, а утром, едва начало светать, он полез на крышу.

Лазал, латал дыры под проливным дождем — тут, там, а что толку? Вернулся в избу — потоп.

— Ну, видишь теперь, почему дом продавать надо?

Три дня лютовал, не переставая, дождь, три дня нельзя было высунуть носа из дома. Виктор заскулил, да и Полина все чаще начала раздувать ноздри.

Но это были еще цветки. А ягодки-то начались, когда у них вышел хлеб. Надо было идти на станцию или в Резаново, но куда же в туфельках по нынешним хлябям?

А они по легкомыслию (и тут уж виноват был исключительно сам Клавдий Иванович) не захватили с собой даже резиновых сапог.

Их выручила баба Соха. Сама под проливным дождем приковыляла с целым коробом всякого печева, теплого, только что вынутого из печи и завернутого в мешковину.

Но долго ли будет нынешний человек жить на одном хлебе? И тем более такой избалованный человек, как Виктор? День прожил нормально, а назавтра новый скулеж:

«Мяса хочу. Масла…»

Тетка заранее писала Клавдию Ивановичу, что ежели привык, хочешь уедно исть, все вези с собой, а нет, посылай наперед себя посылки — так ноне в деревню-то ездят.

Но он как-то не придал значения теткиным словам, можно сказать, мимо ушей пропустил, и вот попробуй теперь — растолкуй ребенку, почему у них в поселке можно разжиться мясом и маслом, а тут нет.

Клавдий Иванович стал подумывать об эвакуации.

А что было делать? Дожди не проходили, в избе было сыро, и это несмотря на то, что он с утра до ночи калил обе печки, а потом и вовсе дело дрянь — Виктор закашлял, да и Полина начала носом ширкать.

Тут Клавдии Иванович сразу решился — идти в Резаново на поклон к Гехе. Другого выхода не было.

Геха явился сам.

Утром, сразу же после чая, Клавдий Иванович начал было снимать штаны — после таких дождей полдороги придется грязью выше колена брести, и вдруг под окном железный гром и грохот.

Виктор и Полина пулей вылетели на улицу — про дождь, про непогодь, про все забыли.

А вскоре в избу ввалился и Геха.

— Ну что, господа туристы? Как оно на второй-то целине? — спросил он и захохотал.

Гехе легко было хохотать. Сапоги резиновые, дождевик непромокаемый, парусиновый, чуть ли не до пят, толстый ватник — это снаружи, а изнутри спиртной подогрев.

Но Полина и Виктор издевку в расчет не принимали.

Они смотрели на него как на Бога-избавителя и готовы были обнимать и целовать.

— Дяденька, дяденька, вы это за нами, да? — не один раз спросил Виктор, все еще не веря в подкатившее счастье.

— За вами, за вами, — добродушно похохатывал Геха. — Это ведь только он думает: Геха-зверь, — добавил он, кивая на Клавдия Ивановича.

Отъезд походил на бегство.

Быстро скидали в кузов вещишки, Полина с Виктором сели к Гехе в кабину, а Клавдий Иванович полез в открытый кузов.

— Дождевик дать или закаляться будешь?

— Закаляться! — со злостью бросил Клавдий Иванович.

Все-таки не мог совладать с собой, хотя и крепился изо всех сил.

— Давай, давай! — опять с каким-то добродушием, похожим на издевку, сказал Геха и пошел к кабине.

Клавдий Иванович вспомнил про бабу Соху.

Он сбросил с себя холодный, задеревеневший дождевик (Геха в последний момент бросил), забарабанил в мокрое, выпуклое железо кабины:

— Подождите с полчасика, я с бабой Сохой попрощаюсь!

— А это уж ты у хозяйки спрашивай, — сказал, высовываясь из окна кабины, Геха. — А я что — извозчик.

— Не выдумывай! Я вся замерзла, зуб на зуб не попадает. А о сыне-то ты подумал?

Клавдий Иванович не стал настаивать. В конце концов баба Соха все поймет, не осудит его.

МАЗ, загремев мотором, качнулся вправо, качнулся влево и пополз на дорогу. Из мутной завесы дождя последний раз вынырнул большой отцовский дом и тотчас же растаял, а потом справа, над рощей мокрого осинника, по которому уныло барабанил дождь и который, показалось Клавдию Ивановичу, еще более буйно разросся за эти дни на здешних полях, темной, бесформенной тучей всплыла Мамониха.

Мокрым глазам его стало горячо.

Не много, не много радостей отвалила ему Мамониха, чаще злой мачехой оборачивалась, но это была его родина. И он знал: что бы с ним ни случилось дальше, где бы он ни оказался, куда бы ни забросила его жизнь, а самое дорогое, самое святое для него место на земле, во всей вселенной тут, в Мамонихе, в этом задичавшем лесном краю.

1972–1980, 1981

Бабилей

На этот праздник меня выволокла Евстолия. Подкатила эдакой лисой: «Конь, говорят, у тебя застоялся. Не хочешь до Юрмолы прокатиться? Мне бы к бабушке одной надо, за овечкой наказывала приехать».

Ну и как было отказать? Как сказать: нет? Соседка. За всем тащишься к ней: и за молоком, и за картошкой, и за луком. А грабли, вилы, косу — у кого взять?

На новеньком, еще не обкатанном как следует «Немане», запряженном в двенадцать железных лошадей («Ветерок» мотор), мы быстро, за считанные минуты отмахали семь километров, вытащили лодку на песчаный берег — и в деревню.

И вот тут, когда мы вышли уже к баням на зеленый лужок да услыхали в деревне гармошку, Евстолия мне объявила:

— На веселье настраивайся. Не за овечкой ехали — на бабилей.

— На бабилей? На какой бабилей?

— На какой, на какой… Какой бывает, когда человек на пензию выходит.

— На юбилей?

— Ну. Так, наверно, по-ученому-то. Мы у пня выросли, нечто и понимай.

Я круто повернул назад: у меня дома работы всякой невпроворот, горы (только что из города приехал), даже трава вокруг дома не выкошена, а она на-ко что выдумала — по каким-то бабилеям разъезжать.

Евстолия проворно схватила меня за руку, слегка тряхнула (была у нее силенка, хоть на вид и рыхлая баба), затем, явно задабривая меня, с улыбкой сказала:

— Да ты разве сразу-то не понял, зачем я еду? Катерина, двоюродная сестра по мамы, на пензию на той неделе вышла. Пять десятков жонке стукнуло. Наказала: приезжай и никаких, а то и за родню признавать не буду.

И уже совершенно обезоружила, когда, вся полыхая кумачовым румянцем от смущения, неуклюже, переступая с ноги на ногу, повернулась передо мной:

— Смотри-ко, как я вся вынарядилась. Кто в таких нарядах за овцами ездит?

Мы вошли в заулок к Юшковым как раз в то время, когда там плясали под гармошку. Пля-сали все скопом, всем застольем: бабы, девки, старухи, мужики, еще не пьяные, вывалившиеся на улицу, должно быть, первый раз. И плясали кто во что горазд. Кто, распарившись, одурев в избяной жаре, просто топтался на месте, только поворачивался, помахивая платком, чтобы получше обдуло вольным воздухом, кто, наоборот, молотил ногами насмерть, точно он задался целью во что бы то ни стало срыть зеленый лужок в заулке, насквозь пробить в земле дыру, а кто — парни, мужики, которые помоложе, — жеребцами резвились вокруг молодой синеглазой бабенки с гладко зачесанной головой сразу было видно, что она тут первая красавица.

И именно эта-то бойкая бабенка первой и увидела нас с Евстолией.

Увидела, подбежала, с ходу обняла Евстолию, а затем и меня.

— К столу! К столу! — закричала и, подхватив нас под руки, повела в избу.

— Вот сюда, вот сюда! На самое почетное место! Столы, расставленные вдоль стен буквой «п», ломились от всякой еды, от печева, от морошки — я в жизни не видал такой отборной, такой зрелой ягоды, да еще в таком количестве: тут она была полными тарелками, большими, как тазы, эмалированными мисками.

Как водится, нас заставили выпить по штрафной — дружно, всем застольем навалились, а молодая синеглазая бабенка — она села напротив нас — еще и присказку присказала:

— До дна, чтобы муха ног не замочила.

— А где сами-то хозяева? — спросил я на ухо у Евстолии.

— Чего, чего?

— Где, говорю, юбилярша да Гордя?

Евстолия голову откинула назад, залилась на всю избу.

— Да ведь он не узнал тебя, Катерина! — сказала она молодой бабенке. Говорит, где хозяйка да Гордя.

— Молчи! — махнула рукой грузная, широколицая старуха в старинном повойнике с ярким парчовым донышком. — Я, суседка, и то не узнала, а ему чего дивья. Много ли он видал ей?

Я видал Катерину, видал не один раз и даже, помнится, лет пять-семь назад чай у них пил, но большая ли радость смотреть на деревенскую бабу, задавленную колхозной и домашней работой, ребятишками, мужем? А Гордя был гроза тот еще: муха не пролети в избе, когда он дома. Сам пьяница, работник — выше караульщика склада на моей памяти не поднимался, инва-лид глупости, как сам иногда подсмеивался над собой (гранатой левую руку еще в школьные годы оторвало), а так сумел поставить себя и в семье, и в Юрмоле, что все старались держаться подальше от него.

— Да, вот как тебя, сеструха, пензия-то подняла! — расчувствовалась Евстолия. — Хоть снова замуж выходи.

— Дак ведь пензия-то у ей не наше горе, — сказала Маланья, та речистая старуха в повой-нике с золотым донышком, — не двадцать рубликов. А сто двадцать. Есть разница.

— Заслужила! — трахнул кулаком по столу Виталька-бригадир (крепко уже поднабрался: меня не признал).

— Заслужила, заслужила, Виталий Иванович, — начали со всех сторон соглашаться с Виталькой (дурной во хмелю!). — Знамо, что заслужила. Весь век с телятами.

— А где у тебя сам-то?

Не знаю, просто так, из любопытства спросила Евстолия или для того, чтобы отвести разговор от Витальки, но только при этом все заулыбались.

— А сам на повети! — весело ответила Катерина.

— На повети? Чего там делает? Деньги зарабатывает, пока жена гуляет?

— Молчи ты, — замахала руками Маланья. — С утра вином накачан, чтобы не ширился тут. Знаешь ведь его, слова никому не даст сказать.

— Ну дак вот ты, девка, из-за чего человеком-то стала — от Горди выходной взяла.

— Так, так, Толя. Из-за этого дьявола не видно было Катерины.

— Гордю не трогать! — вдруг опять рявкнул Виталька и пьяно заплакал.

— Не трогам, не трогам, Виталий Иванович, — опять перешла на елейный тон Маланья. — Заботы ей высушили. У тебя сколько их было, Катя?

— Ребят-то? Дюжина рожалась, а в живых семеро осталось.

— У-у, у-у, беда! — стоном простонал стол. — Ноне с одним-то не хотят валандаться, а она — дюжину!

— Да, я уж не видывала Катерину в простое. Всё с брюхом.

— И правильно! Посуда не должна быть в простое.

На этот раз глотку Витальке заткнула Евстолия:

— Околей к дьяволу! Затем я семь верст попадала, чтобы твое рявканье слушать?

Катерина разудало крикнула — нарочно, конечно, чтобы не допустить ссоры за столом:

— Девки, мясо на стол!

— Смотри-ко, смотри-ко, сеструха, ты как командёр сегодня. У тебя и голос прорезался.

— В председатели надоть! — поддала жару Маланья. Она, когда выпьет, гроза-старуха. — А то всю жизнь из-за моря телушку возим.

— Верно-о-о!

Тем временем две дочери Катерины — просто замухрыги невзрачные по сравнению с мате-рью, просто сухари постные против сдобной булки, хотя и с шестимесячным перманентом на голове, при золотых кольцах — культурные, в городе живут, — принесли с холода накрошенное в маленьких тарелках мясо, и Катерина, все время до этого улыбавшаяся — у нее и рот на удивленье был молодой, полон белых зубов, — вдруг взъярилась:

— Это чего вы принесли? Кошкам исть але людям?

Одна из дочерей с укором покачала головой:

— Красиво, больно красиво налакалась!

— А хоть и налакалась, не на ваши деньги. На свои!

— Мама, да ты с ума сошла! — Это уже другая дочь попыталась утихомирить разошедшу-юся мать.

Катерина вскочила на ноги, стоптала ногой:

— Мой, мой сегодня день! Не вам командовать матерью. Живо у меня! В один секунд чтобы все мясо на столе было.

Донельзя изумленные, не привычные к таким выходкам, дочери кинулись исполнять приказание матери, а за столом — Виталька уже спал, зарывшись лицом в тарелку с рыбными объедками, — тоже что-то вроде оцепенения наступило.

Катерина вдруг расплакалась:

— Не дивитесь, не дивитесь, бабы. Я ведь отчаянная в душе-то!

— Ты-то, ты-то отчаянная?

— Ей-богу! Я ведь и Гордю-то сама на себя затащила.

— Что ты, что ты ничего-то мелешь! Это ведь ты своего потаскуна выгораживаешь, а у него в кажной деревне наследники да девки.

— Нет, бабы, не вру, — сказала Катерина. — На войну-то, помните, сколько от нас уходи-ло? А сколько пришло? В очередь стояли. Как теперь в магазин на товары записываемся, так тогда на мужиков. Заявки давали. А уж какой товар, по душе, нет, не до выбора. Лишь бы штаны были. Вот ведь какое время-то было. Ну а я-то скурвилась еще в войну.

— Мама…

— Да чего — мама? — накинулась на дочь Катерины Маланья. — По-твоему, нельзя уж и о жизни сказать. Не человек мама-то? А ты-то сама на кровати чего с мужиком делаешь? Блох имашь? — И вдруг рассмеялась: — Не таись, не таись, Катерина. Я тоже ворота мужику девкой открыла. Вот те Бог.

— Ну тогда и меня в свою компанию примайте. Моя крепость тоже осады не выдежала, — призналась Евстолия.

— Шестнадцать лет мне было, когда я по своему Гордеюшку-то сохнуть стала. Шестнад-цать. Выписали на подсочку, смолу, живицу собирать, а он, Гордя-то, на участке за старшого. Смотрю, все грабятся за него — и бабы, и девки. А я чем хуже, думаю? Я тоже к тому времени различала, что штаны, что сарафаны. Вот раз встречаю в лесу. «Чего, говорю, ко всем липнешь, а меня стороной обходишь?» — «Да ты соплюха еще». А я и взаправду соплюха против его — двадцать семь мужику. Ну, отступать поздно, зало меня. «А ты спробуй, говорю, какая я соплюха». А он на смех: «Летай, летай, гулюшка».

— Сознательный был?

Катерина не очень весело рассмеялась:

— Сознательный. Шагов-то пятьдесят отошел, нет, от меня, да и назад. А через месяца четыре — чего у меня пояс не застегивается в прежню дырочку…

— Мама… — подала опять предостерегающий голос одна из дочерей.

— Да чего ты мне все рот-то затыкаешь? Ты, ты запузырилась у меня в брюхе! Да, вот какая я дура была, жонки. Ну уж потом-то, когда поняла, попереживала я. Сережка — в седьмом классе вместе учились — с войны пишет: пришли карточку, другой парень — пришли. А я с брюхом, и меня брать не хотят. Ну тут уж народ, люди за меня вступились: «Что ты, говорят, рожа бесстыжая! Ребенка совратил да еще рыло воротишь». Взял меня Гордя. Второй женой…

На синих глазах разволновавшейся, разалевшейся Катерины навернулись слезы.

— Он ведь, дьявол, с продавщицей жил, с евонной матерью. — Она кивнула на гармониста, белобрысого крепыша в белой нейлоновой рубашке с черным галстуком. — Пять лет мы делили его с ей. У ей приманка надежная — вино, а у меня чего? Мне на какой привязи его держать? Ладно, — круто оборвала себя Катерина, — хватит слезы лить. Сегодня праздник у меня, а не причитанье. — И тут она выскочила из-за стола, лихо топнула ногой: — Играй!

Гармонист заупрямился: не буду, раз так про мою мать.

— Чего? Не будешь? Играть не будешь?

— Валерко, сволота! — Евстолия, добрейшая Евстолия так рассвирепела, что обеими руками вцепилась в братынь с пивом. — Ты кому это отговариваешь? Кто тебе матерь-то?

— Нехорошо, нехорошо, Валерий Гордеевич, — поддержала ее Маланья. — Не та матерь, которая родила, а та, которая вспоила да вскормила. А ты ведь, Валерушко, к Катерине-то начал бегать, как ножками заперебирал.

— Матерь вспомнил! Да твоя матерь только и знала, что за штанами охотилась. Сколько она нашего брата разорила, дак это и страсть.

— Так, так. Погань, а не человек. А ты-то, материн заступник, чего к ей дорогу забыл?

— Да, да! К кому ездишь-то? У кого отдых имешь кажинное лето?

— Да не один еще, а с робятищами!

Пристыженный, под орех разделанный бабами Валерка нехотя растянул гармонь.

— Не покойника, не покойника провожаем! Играй, дьявол! — опять все с той же непримиримостью закричала Евстолия.

Затем сняла с головы платок, вытерла распаренное лицо, белую полную шею — душно было в избе несмотря на то, что все окна были открыты.

— Вздумал за матерь заступаться. Знай лебедушку — вороньи перья. Да я бы на Катерини-ном месте ни одного Гординого выб… на порог не пустила. Эта вот вся выставка-то за столом, — Евстолия, ни на каплю не сбавляя тона, очертила рукой широкое полукружье, — думаешь, механизаторы местные? Ни одного в Юрмоле нету. Скоро всю деревню прикроют. Из города все. Гордина работа за тридцать лет. От пяти але от семи матерей, а то и боле. Добрый батько. Принимай, Катерина, все лето. Пой, корми, ублажай. А они все лето телеса на берегу жарят. Посмотри-ко, когда днем солнышко, лежбище в песку-то выбито. А то опять грибы да ягоды заготовляют. К осени-то в город поедут, со всех сторон обложатся корзинами да ведрами.

Валерку все же растрясли бабы — заиграл. Сперва, правда, — и у татьки дрова, и у мамки дрова, а потом разошелся. Катерина разожгла.

Видывал я за свою жизнь плясунов и плясуний всяких. И профессиональных и самодельных. Да Катерина, если на то пошло, и вообще не была плясуньей сразу было видно, в каких она отношениях с половицами: хлоп да скок, да притоп, да картошки мешок. Но столько в ней было молодого задора, такая резвость, такая неутомимость в ногах, во всем теле, так ладно, не по-бабьи выглядел ее стан, перетянутый узким черным лакированным ремешком, какие давно уже вышли из моды, такое счастье, такая синяя радость хлестала из глаз, что все притихли, все залюбовались ею.

— Смотри-ко, смотри-ко, — зашептала мне на ухо Евстолия, — ведь она с дочерями поменялась. Дочерям надо на пензию-то выходить, а не ей.

И это была правда. Старыми, несъедобными обабками выглядели дочери перед матерью, и только руки выдавали ее возраст. Большие, тяжелые крестьянские руки, черные, жиловатые, с

обломанными ногтями, руки, которые за свою жизнь переделали видимо-невидимо всякой работы.

Какое-то время Катерина скакала одна, а потом выскочил к ней один пасынок, другой, третий… И стоном застонала изба. И что еще все сразу же заметили: Гордины сыновья так и едят глазами Катерину, так и льнут, так и липнут к ней: кровь взыграла в мужиках.

И в конце концов дочери не выдержали:

— Мама, мама, срамница! Не смеши ты людей-то, Бога ради.

Катерина не по-бабьи, по-мужичьи топнула ногой:

— Цыц у меня! Мой сегодня день! Мой! Вы сколько в году-то пляшете, а я, может, первый раз за всю свою жизнь.

— Дуй, дуй, Катька! — выкрикнула Маланья.

И раззадоренная этими выкриками, Катерина сама уже наддала жару:

— Молчать у меня! А то живо мужиков отобью.

Хохот грянул по всей избе. Проснувшийся Виталька-бригадир дико заорал:

— Протестую! Не имеете права!

Но людям было не до него. Всех захватило бесшабашное веселье, даже я под столом притопывал ногой, а потом, когда высыпали на улицу — невмоготу стало в распаренной, как баня, избе, — началось и совсем черт-те что. Маланья, старая квашня Маланья пошла в пляс.

— Не спи, не спи, гармонист! Заморозишь!

Катерина по-прежнему ни минуты не давала себе передыху. Три гармониста сменилось за это время — у Горди все сыновья пилили понемногу, — самые здоровые мужики сходили с круга, а эта тончавая бабенка в голубом платьишке, перетянутом черным лакированным пояс-ком, все била и била ногами, и дешевенькое серебряное колечко ярко вспыхивало у нее на черной тяжелой руке.

Пляску прервал рев коровы на задах, которую, надо полагать, пригнали из поскотины.

— Ну, Малька, Малька, — сказала Катерина, тяжело переводя дух, — не дала ты мне досыта наплясаться. Пляшите! Я живо управлюсь.

— Да что ты выдумываешь-то? — сказала Маланья. — Есть у тебя девок-то. Немало. Неуж в такой-то день за матерь не подоят?

Катерина осталась — к корове пошли дочери.

— Играй! Выворачивай меха наизнанку! — распорядилась она.

Гармонист послушно запиликал, но тут уж взмолились все бабы:

— Хватит, хватит, Катя! Землю нам все равно наскрозь не пробить.

— Ну тогда по деревне. С песней! Как бывало.

Вечернее солнце за рекой садилось в тучу. И оттуда, с реки, доносились свои, железные песни — похоже, там с добрый десяток на разных скоростях рыскало лодок с подвесными моторами.

Обнявшись друг с другом, мы шагали двумя рядами по плотно заросшей дерном улице (в Юрмоле редко теперь проедет трактор или телега) и пели любимую Катерины — «Солдат вернется…».

Не радовала глаз Юрмола. Новой постройки ни одной (лет пять уже запрещено всякое строительство), исправные дома тоже наперечет, а общая картина — разорение, распад деревни: заколоченные окна, захламленные, поросшие собачьей дудкой пустыри, на которых когда-то кипела жизнь, и старые-престарые избы с провалившимися крышами, в которых сутками напролет пировала птица мира…

Старая Маланья первая не выдержала — расплакалась:

— Не вернется, не вернется больше солдат в Юрмолу. Кончается родная дере́венка…

И тут все старухи и бабы, еще какую-то минуту назад предававшиеся беззаботному веселью, вдруг заголосили, завыли, как на похоронах.

Я, воспользовавшись всеобщей сумятицей, незаметно нырнул в заулок к знакомому мне дому.

Утром меня растрясла Евстолия:

— Вставай, дезертир! Вчерась бабы спохватились: где у нас писатель-то? А писатель, на-ко, на сеновал уполз — не сыпал бедный.

Я поднялся на великую силу, ибо заснул под самое утро. Одолели комары — три часа, наверно, с ними воевал: поветь была ветошная, дыра на дыре.

Над головой, за старыми вениками, висевшими с прошлого лета, кто-то, показалось мне, вроде как всхлипывал — жалобно, по-ребячьи, и я, натягивая куртку, озадаченно уставился на Евстолию.

— Дождик, дождик, слава Богу, — сказала Евстолия.

— Дождик? — переспросил я и первым делом подумал, как мы будем добираться домой.

Умная Евстолия угадала ход моих мыслей:

— Ладно давай, не сахарные. Не размокнем. Надоть дожик-от. Может, хоть картошки сколько подрастут да какой гриб в лесу заведется.

Вскоре, слегка отмякнув под теплой грибной моросью, мы входили к Юшковым: Евстолия и слышать не хотела, чтобы уехать, не попрощавшись: «Что ты, нелюди мы, что ли. Знаешь, ей какая обида будет. Да и голову поправить надо. У меня раскалывается голова, не довезти до дому».

У Юшковых пили чай. Пять мужиков, шесть подростков-акселератов (тоже, в общем-то, мужики, только с пушком на верхней губе да пустыми рыбьими глазами), две дочери, три невестки и сам — на хозяйском месте, сбоку стола. Мрачный, с сивой всклокоченной головой, с пустым, обвисшим, как тряпка, рукавом мятой-премятой рубахи, расстегнутой на весь ворот.

Подавала на стол Катерина — я узнал ее по серебряному колечку на тяжелой черной руке, а так — что осталось от вчерашней красавицы? Старуха. Какое-то выцветшее, обвисшее на боках платьишко с обтрепавшимся подолом, растоптанные, с обрезанными голяшками валенки на босу ногу, серый, в мелкую клетку платок, низко натянутый на глаза и повязанный вокруг шеи, концами назад.

Эта крутая перемена в Катерине поразила не только меня, но, видимо, и Евстолию, потому что она, такая учтивая, на этот раз позабыла и поздороваться при входе в избу. И только когда Гордя хмуро повернул к нам голову, не очень приветливо сказала:

— Хлеб да соль.

— Хлеба ись, — гаркнул пропитым голосом Гордя и вдруг с надеждой взглянул на меня.

Евстолия разразилась бранью:

— Кой черт глазища-то вылупил? Думаешь, у писателя-то бочки с золотом? Не писатель тебя должен угощать, а ты писателя. Не стращай, не стращай меня своим кощейным-то взглядом! — замахала руками вконец распалившаяся Евстолия. — Не испугалась. Не таких змиев на своем веку видала! Пойдем! — гневно крикнула она мне. — Кончился бабилей. — И, не попрощавшись, даже не взглянув на Катерину, выскочила из избы.

Заговорила Евстолия, когда мы перешли улицу да спустились к баням, от которых густо несло застарелым банным духом — дождь обостряет запахи:

— Ух, коль мне бедно на этого дьявола, дак я не знаю, чего бы с им сделала. Это ведь чего он на тебя глаза-ти распахнул? Бутылку, думал, поставишь. Вот какая он сволота — наскрозь его, гадину, вижу. Ну и ту, дуру, не хвалю. Господи, вчерась была — загляденье, краше-то ей на свете нету. А сегодня опять вехоть под ногами у Горди да у евонных выб..... Это ведь чего, думаешь, она платом-то со всех сторон обвязалась, глаза прячет? Гордя фонарей наставил.

— Ну уж!

— Чего ну уж-то? Не знаю разве. Проснулся утром — вчерась ящик вина был але два, а сегодня и наперстка нету. Вечор то сучье-то племя все до капли вылакало, такие они, все в Гордю, не успокоятся, покуда все не осушат, а спрос с кого? С Катерины. Ты, мать-перемать, така-эдака...

Дождь разошелся не на шутку. Старенький, неопределенного цвета хлопчатобумажный плащишко на Евстолии потемнел, мокрый подол платья стал оплетать толстые, нездоровые ноги, но разве ей было сейчас до этих пустяков?

— Я не знаю, не знаю, что мы за люди, — все больше и больше распалялась она. — Весь век на нас какие-то прилипалы да огарыши ездят. Почто? По какому праву? Почто человеками-то мы не можем быть? Катерина вчера с коровушек, с коленей на ноги встала — дак вся природность возликовала. Помнишь, какой денек-то вечор был? Солнышко, кажный листышок играет, кажная птичка жизнь славит. Вот бы рай-то и спустился с неба на землю, кабы мы людями были. А то ведь она раз, один раз за все пятьдесят лет человеком была. А почто? Горди, евонного отродья не стоит? Да они Катерининого-то ногтя не стоят. Вот природность-то и отвернулась от нас. Вишь, как поливает. И солнышко за тучи скрылось. Стыдно ему за нас стало, потому и скрылось. Кой черт, я стараюсь, стараюсь для них, а они сами палец о палец не ударят. Ну вас к дьяволу, надоели вы мне! Ох, кака бы язнь, кака бы жизнь у нас была, сколько бы этой красы-то на земле было, кабы Катерина набралась смелости да всем этим сволочам вместе с Гордей в рожу плюнула! Хватит! Буде, поездили на мне, а тепере я буду командовать,

раз вы ни черта не можете.

К этому времени мы уже подходили к лодке, по металлическим плоскостям которой гулко барабанил дождь, и Евстолия распалилась уже до предела:

— Чего все молчишь? — Это уже за меня она взялась. — Еще писателем называешься. Я не байки сказываю, не потешки пою. Юрмолу-то до чего довели — на ладан дышит. Бабы ко мне о первом май заходили, еще тогда говорили: «Нам уж разве писателя просить. Он разве поможет. А то к смерти приговорили: свет не проводят, телят из Юрмолы угнали, а теперь и нас скора выгонять будут». А писатель, на-ко, посидел, попил да к бабке на поветь, во сена душистые. На отдох. Разве умер бы, кабы с людями поговорил? Вчерась тебя спохватились: где писатель, где писатель? Ну и я со стыда сгорела, скрозь землю готова провалиться…

Мы не сразу спихнули лодку — нос ее глубоко всосало в разжиженный дождем песок. А потом Евстолия, вся мокрая (я тоже был мокрый с головы до ног), села ни скамейку, широкой спиной ко мне, и уже до самого домашнего берега не проронила ни слова.

1975–1980

Последний старик деревни

Всех знаю в своей деревне — старых, молодых, даже детей, если не по именам, то по обличью. А тут, смотрю, гребется какой-то старичешко от почты по пыльной песчаной обочине. Кто? Сапоги кирзовые, громадные, оттого что высохшие ножонки торчат в стоячих голенищах, как палки, батог в руке, сверкающий на солнце…

Подхожу ближе и глазам не верю: Павел Васильевич Савин.

Похудел, высох, глаза завалились, будто с того света смотрят… А борода? Где савинская борода? Еще какой-то год назад взобьет, распушит, расправит — целая копна на груди.

А какой он в молодости был, этот Павел Васильевич! Какая силушка, какая удаль гуляла по земле! Весной у нас, когда схлынет половодье да в Пинегу выпустят лес, самое ухарство — перебежать с багром в руках с одного берега на другой по плывучим бревнам.

Перебегал.

А что за диво, что за картина — я тогда был еще совсем-совсем ребятенком, — когда он ехал за невестой! В жизни не видал такой бешеной скачки допьяна напоенных рысаков в праздничной, жаром горящей сбруе. Мороз, солнце, а он в расписных сапках, стоя, в одной кумачовой рубахе, без шапки. Само нетерпенье, сама ярость.

— Павел Васильевич, — спрашиваю, — да ты ли это?

— Я, парень, я. Всё боле, на другую фатеру приказано перебираться.

Я стал говорить какие-то слова утешения.

— Нет, нет, не утешай — отгулял свое. На почту это ходил. Деньги на похороны сымал. Было шестьсот рублей накоплено, все снял. Не хочу, чтобы дети на меня разорялись. И хочу проститься с земляками по-хорошему: чтобы все, кто придет, были угощены… Чтобы все запомнили, как последний старик деревни уходит на покой…

Я не удивился словам Павла Васильевича. Оставались еще в деревне три-четыре старика. Но последним-то стариком деревни называли только его Павла Васильевича. Он был из той уходящей породы русских мужиков, которые умели и жить с размахом, и работать всласть, и чудить.

Павел Васильевич умер в тот же день, под вечер, когда садилось солнце.

Всю весну и все лето лежал на своей старинной деревянной кровати возле дверей, а тут вдруг запросился на пол.

Дети (сыновья и дочери к тому времени уже съехались) исполнили просьбу — разостлали на полу, там, где стоял обеденный стол, перину, перенесли отца.

— А теперь Матрёна пущай ляжет рядом со мной. Сыновья и дочери переглянулись: что еще выдумал старик?

— Матерь, говорю, рядом повалите.

Матрена сидела в старом ватнике, прислонившись спиной к теплой печке. Когда-то это была писаная красавица, и Павел Васильевич смертным боем бился из-за нее со своими многочисленными соперниками, да и потом, когда уже был в годах, обожал ее. «У меня Матрёнка… Моя Матрёнка… Я с Матрёнкой…» это был любимый, его разговор, и пьяного и трезвого.

А сейчас Матрёна, когда заговорил о ней муж, даже ухом не повела: она уж года три была не в своем уме.

— Папа, — заговорила старшая дочь осторожно (Павел Васильевич в строгости держал детей), — зачем тебе мама-то? Нехорошо ведь.

— Повалите, говорю, рядом со мной матерь.

Сыновья и дочери опять переглянулись, и что делать, как перечить умирающему отцу?

— Матрёнка, — сказал Павел Васильевич, когда старуху положили с ним рядом, — обними меня в последний раз.

Матрёна, к которой в эту минуту, видимо каким-то чудом, вернулся рассудок, неловко, суковатыми руками обхватила мужа.

— Вот и ладно, — прослезился Павел Васильевич. — А теперь оставь меня одного, я помирать буду.

И вскоре на глазах у всех умер.

Хоронили Павла Васильевича всей деревней. Все шли за гробом — и стар и мал. Все провожали в последний путь своего последнего старика.

1980

Золотые руки

В контору влетела как ветер, без солнца солнцем осветило.

— Александр Иванович, меня на свадьбу в Мурманск приглашают. Подруга замуж выходит. Отпустишь?

— А как же телята? С телятами-то кто останется?

— Маму с пенсии отзову. Неделю-то, думаю, как-нибудь выдержит.

Тут председатель колхоза, еще каких-то полминуты назад считавший себя заживо погребенным (некем подменить Марию, хотя и не отпустить нельзя: пять лет без выходных ломит!), радостно заулюлюкал:

— Поезжай, поезжай, Мария! Да только от жениха подальше садись, а то чего доброго с невестой нерепутает.

Председатель говорил от души. Он всегда любовался Марией и втайне завидовал тому, кому достанется это сокровище. Красавицей, может, и не назовешь и ростом не очень вышла, но веселья, но задора — на семерых. И работница… За свои сорок пять лет такой не видывал. Три бабенки до нее топтались на телятнике, и не какая-нибудь пьяная рвань — семейные. И все равно телята дохли. А эта пришла — еще совсем-совсем девчонка, но в первый же день: «Проваливайте! Одна справлюсь». И как почала-почала шуровать, такую революцию устроила — на телятник стало любо зайти.

Мария вернулась через три дня. Мрачная. С накрепко поджатыми губами.

— Да ты что, — попробовал пошутить председатель, — перепила на свадьбе?

— Не была я на свадьбе, — отрезала Мария и вдруг с яростью, со злостью выбросила на стол свои руки: — Куда я с такими крюками поеду? Чтобы люди посмеялись?

Председатель ничего не понимал.

— Да чего не понимать-то? Зашла на аэродроме в городе в ресторан перекусить чего, думаю, два часа еще самолет на Мурманск ждать, ну и пристроилась к одному столику — полно народу: два франта да эдакая фраля накрашенная. Смотрю, а они и есть перестали. — И тут Мария опять сорвалась на крик: — Грабли мои не понравились! Все растрескались, все красные, как сучья — да с чего же им понравятся?

— Мария, Мария…

— Всё! Наробилась больше. Ищите другую дуру. А я в город поеду красоту на руки наво-дить, маникюры… Заведу, как у этой кудрявой фрали.

— И ты из-за этого… Ты из-за этих пижонов не поехала на свадьбу?

— Да как поедешь-то? Фроська медсестрой работает, жених офицер сколько там будет крашеных да завитых? А разве я виновата, что с утра до ночи и в ледяную воду, и в пойло, и навоз отгребаю… Да с чего же у меня будут руки?

— Мария, Мария… у тебя золотые руки… Самые красивые на свете. Ей-богу!

— Красивые… Только с этой красотой в город нельзя показаться.

Успокоилась немного Мария лишь тогда, когда переступила порог телятника.

В семьдесят пять глоток, в семьдесят пять зычных труб затрубили телята от радости.

1976

Надежда

Вышел на улицу, глянул в верхний конец — кто там пылит, клюкой на солнце размахивает?

Федосеевна. И разряжена в пух и прах: в старинном ярком сарафане, который, может, сохранился еще от приданого, в голубой шелковой кофте с белыми нашивками по подолу — тоже прежнего завода.

— Куда это с утра вынарядилась?

— За пачпортом. Из сельсовету вечор прибежали, чтобы за пачпортом в район ехала. Я говорю: что вы с ума-то сходите? Какой мне пачпорт помирать надоть. Але на том свете ноне порядки новые — без пачпорту и ходу нету? Всем, до последнего человека, говорят, пачпорта получать. Вот и собралась. Надо приказ сполнять.

— А не рано собралась-то? Автобус-то когда приходит?

— Ничего. У почты посижу. Тепло ноне. Не могу дома-то жить. Всю ноченьку глаз не сомкнула. Все вспомнила, по всей жизни прошлась. И как у отца с матерью в бедности вырастала, и как в колхозе робила, и как войну пережили. Три похоронки на одном году пришло — каково, думаешь, мне было? На Петю, на Владимира, на Павла — и все в сорок пятом году. Вот как война-то нас шарахнула напоследок.

А что, надоть как-то жить. Да надоть наследника але наследницу смекать. Мужик весь приохался: «Вот помру, и весь род-корень чемакинский искурится».

В сказке вон старик взял полешко да вырезал Ольшанка — вот тебе и сын, а нам как быть? Один весь изранен да искалечен и друга немолода молодка.

Ну Господь услыхал — дал Надежду. А что Надежда? Семё худое — говорю, живого места на мужике нету. И земля одно званье — когда есть цвет, а когда нету — вот как я рожала Надежду. Вот девка-то за все и расплачивайся. И за войну, и за матерь (у меня два зуба во рту было, когда рожала), и за голод — отец, можно сказать, нарушил себя, всё, какой кусок, какая кроха в доме заведется, мне пихал: тебе девку кормить. А девка — слепая, затянуло гноем глаза. Сколько, бывало, языком вылижу — до тех пор и свет белый ей светит, а так — при глазах слепая.

Ученье тоже не пало: с картошки-то не больно разбежишься. До четырех классов с грехом пополам доучилась — дальше-то что делать? В колхозе не работница — ей зажало. Как хлеб на сухой глине. А жить-то надоть. Живым в землю не зарывают.

Ну умолила — в лес взяли. На лесопункт синетаркой. За больныма ухаживать. И вот кого лес губит, а моей девке глаза раскрыл. Что ты, она ведь справилась в лесу-то. Весной приехала домой — стук-постук. Я ночью сплю: кто там стучится? «Я, мама, открой». Ну, открыла. В потемках-то я и не заметила, какая она. А наутрось, на свету-то, увидела и признать не могу. Писаная красавица! Да ты ли, говорю, это, Надешка? «Я, говорит, мама, я». Чистенькая, гладенькая, как картиночка, глаза во все лицо. Бывало, как котенок малый, все с закрытыми глазами, а тут не знаю, что и подумать.

Я опять за спрос: да, может, подменили тебя в лесу-то? А как не подменили. Дома все в голоде, картошка, и та не досыта. А в лесу-то она исть стала. Да хлеб хороший, настоящий. Да приоделась. Вот она и расцвела, как цветок в поле.

Ладно, подошла пора моей Надежде пачпорт получать. Пришла домой. «Так и так, Иван Павлович, — это председателю колхоза, — дай бумажку, в район лажу идти». А Иван Павлович, может, по самым большим праздникам только и человек. «Я, говорит, одну бумагу тебе дам — на телятник. У нас телята не поены, не кормлены со вчерашнего».

Надежда моя: «Не имеете права. Я, говорит, уж три года на лесном фронте». — «А теперь, говорит, будешь на колхозном. Я, говорит, тоже к вам приехал не своей волей. А раз я не своей, и ты будешь робить». Надежда у меня пришла в слезах: «Что делать, мама?» А что мама присоветует? Где мама бывала? Кого за свою жизнь видела? С малых лет в лесу да со скотом.

Что — надо возвращаться на лесопункт несолоно хлебавши, куда больше, а через день Надежда у меня прилетела на крыльях: «Мама, говорит, начальник лесопункта мне бумажку дал. За пачпортом иду. Моли Бога, чтобы дали». И дали пачпорт. Да вот с этого-то пачпорта и начались все несчастья у девки.

Пришла на лесопункт, к начальнику: «Спасибо, Михей Лазаревич». — «А чего в спасибе-то?» — «А вот, — говорит Надежда, — праздник будет, бутылку поставлю». — «А мне, говорит, бутылка-то надо та, которая на двух ногах». Да шасть к двери, дверь на крюк. Спозарился на Надежду. Девка красавица писаная, кровь с молоком. «Не могу, говорит, ни жить, ни робить, а у меня планы…» — «Что ты, — говорит Надежда, — ведь у тебя у самого жена есть, дети… Да как, говорит, ты подумал-то о таком?» Знаешь, по-хорошему все хотела. Думает, опомнится, придет в себя мужик. А мужик ей на деван валить, силой, приступом брать. Надежда выскочила через окошко, в одной рубахе, не знаю, как и ноги не сломала.

И вот с той самой поры у меня для Надежды житья не стало. Лезом лезут и парни, и мужи-ки. И свои, и вербованные. Один вербованный — до чего дошло — ножом стал стращать. «Моя, говорит, будешь але сколю».

Девка у меня с ума сходит. Хоть вешайся, хоть топись. Как-то прибежала домой: «Что мне делать, мама? Мужики проходу не дают. И от начальства никакой заступы». Такая уж, знаешь, у ей красота. Вот тянет на ей мужиков, да и только. Теперь уж сколько — тридцать пять, а хоть с завязанным лицом ходи — липнут да и всё.

Я говорю: раз в чужих местах житья нету — возвращайся домой. У нас, говорю, в колхозе мужиков наперечет и поспокойнее свои будут. «Нет, говорит, мама, домой не вернусь. Не для того, говорит, я столько беды приняла с этим пачпортом, чтобы добровольно, своей охотой его лишаться. Надо, говорит, мне други ходы-выходы искать. На лесопункте реку вброд перебродить».

И вот перебрела. Шестнадцати годков замуж выскочила. Я учула заплакалась. Кто же в эти годы свою жизнь губит? А как зятя-то увидела, у меня и ноги подкосились. Под потолок будет. Мне надоть голову задирать кверху, чтобы зятя своего высмотреть. И некрасивый — черный. А она-то, как цветок лазоревый перед ним. «Что, мама, не понравился мой Вася? — Васильем жениха зовут. — Ничего, говорит. Я, говорит, видеть эту красоту не могу. Со своей намаялась. Я, говорит, оборону себе искала. Самый крепкий да самый сильный человек на лесопункте, хоть во спокое поживу. Теперь, говорит, ко мне близко никто не подойдет». А что — неверный, все равно житья не стало.

Я не раз уже слышал эту историю, но не стал прерывать старуху. Старый человек любит выговориться, а у Федосеевны какой сегодня день?

— С первого дня веры не дал. «Ты, говорит, нечестна». Надежда доказала свою честь. Рубахой. Чуло, видно, сердце-то, откуда сиверок дохнет. Опять: «Как за меня, за такого лешего, пошла?» — «За силу твою, — говорит Надежда, — пошла. Мне, говорит, сила да заступа твоя надобна, хорошей да чистой жизни хочу». Опять — не любишь! Замучил, с первого дня замучил девку. Але кого Надеха встретит, не смей говорить-здороваться. А как не здороваться, как не говорить с людями? У меня девка смалу в учтивости да в обхождении воспитана.

И вот Надежда у меня мучилась-мучилась, парничка прижила — ну, нету жизни. Всем бы хороший человек — и не пьет шибко, деньги хорошие зарабатывает, хозяйственный. Все справили: небель, стервант, одежды всякой назаводили, посуды звонкой. Ну неверной. В клуб не сходи, к людям не выйди, и на улице — вышла — везде евонные глаза.

Ну что, три года пожили, ушла Надежда. Все ему оставила: небель, деньги, тысяча рублей на книжке было, — только, Бога ради, оставь меня во спокое, дай мне жить-дышать. Да вот с тех пор так и путается — ни девка, ни жонка. Я начну говорить. «Не учи, не твое дело. Нынче половина так живет»…

Старуха ждала моего одобрения, и мне бы надо хоть кивнуть головой, что ли, — на большее я был не способен, потому что я раз двадцать высказывался по поводу образа жизни ее дочери, столь необычного для нашей все еще во многом патриархальной местности, но сегодня во мне вдруг что-то забастовало, и обиженная Федосеевна в конце концов встала с бревна, на котором мы сидели, да так и пошагала, не попрощавшись.

1978–1980

Когда делаешь по совести

В пятьдесят втором году после окончания ветеринарного института Аркадия Стрельникова направили на Новгородчину старшим ветврачом зоны МТС.

Время было трудное, — послевоенное лихолетье! — многие колхозы дышали на ладан, а у него, ветврача, одна присказка, один разговор: сдавай мясо! Да мясо товарное — говядину.

Однажды Стрельников приехал в колхоз — председатель сидит за столом, по уши зарыв-шись в бумаги.

— Что за новая игра в бумажки? По мясу всех обскакал? — Стрельников, несмотря на свой возраст, умел страх нагнать — быстро «поставил голос».

— Эти бумажки — смертный приговор колхозу, — вздохнул председатель.

— Смертный приговор?

— Да. Заявления от колхозников. Коров да телок просят. — И тут председатель, как-то беспомощно, беззащитно взглянув на него, взмолился: Понимаешь, какое дело-то… Не дать коров колхозникам — разбегутся, без коровы на сотки не проживешь, а дать — ты же первый крик поднимешь: почему у тебя молочное стадо сократилось?

— Ты мне Лазаря-то не пой! — начал было Стрельников с привычной фразы (не впервой приходится вправлять мозги) и вдруг прикусил язык, ибо председатель, как бы защищаясь от

него, поднял руку, и вместо руки у него оказался пустой рукав.

Стрельников сел и долго сидел, со стороны, сбоку приглядываясь к худому, нездоровому лицу председателя.

— Слушай, — сказал он наконец, — а у колхозников, которые просят коров да телок, есть в личном хозяйстве свиньи да овцы?

— У кого есть, а у кого нету.

— А нельзя так сделать: вместо крупного рогатого скота сдать в госзакуп мелкий?

— Нельзя. По плану: говядина. Разве только ты как старший ветврач бумагу выдашь: колхоз, дескать, сдал то, что надо.

Стрельников выдал бумагу, а через день его вызвали на бюро райкома. Заявление: старший ветврач Стрельников разрешил отдать коров колхозникам, а государству вместо высококачественной говядины всучил какую-то свинину и недозрелую баранину. Одним словом, обман, антигосударственная практика! (Кстати, заявление, как потом выяснилось, накатал один из колхозников, которому не досталось коровы.)

Секретарь райкома темной тучей навис над молодым ветврачом: отвечай! И от членов бюро несло крещенским холодом. И Стрельников в первую минуту перепугался насмерть, а потом вдруг вспомнил председателя с обрубком вместо руки и просто озверел:

— Это накормить-то крестьянских детишек молоком антигосударственная практика? Да зачем же нас с вами сюда прислали? Разве не для того, чтобы крестьянские дети молоко ели? Или вам плевать на крестьянских детей, поскольку сами получаете молоко с базы? Нет, то, что я сделал, это не антигосударственная практика, а единственно государственная и народная практика! Сказал, и не вышел, а вылетел вон. Члены бюро уставились на первого секретаря: что сделает тот? Сейчас, сию минуту, позвонит куда следует или покамест распорядится, чтобы заготовили приказ о снятии Стрельникова?

А первый сидел-сидел, смотрел-смотрел в стол и вдруг сказал:

— Будем считать, что никакого заседания бюро у нас сегодня не было.

Прошло, наверно, с полмесяца. Многие сослуживцы перестали разговаривать со Стрельниковым — на всякий случай, чтобы не погореть заодно с ним. А сам Стрельников назло всем ходил по передней улице мимо райкома. Смотрите! Не боюсь!

И вот однажды, когда он так среди бела дня напоказ рысил мимо райкома, оттуда вдруг вышел секретарь со своим синклитом.

— Стрельников, чего не здороваешься?

— А чтобы не подумали, что подлизываюсь к вам, — с вызовом ответил Стрельников.

— Вот как! — усмехнулся секретарь. — Ну коли ты не хочешь подойти, я сам к тебе подойду, — и на виду у всех через грязную дорогу пошлепал к Стрельникову.

Подошел, протянул руку:

— Правильно выступил. Мы действительно подзабыли, для чего живем Я, брат, из

беспризорников и знаю, что такое голод. Работай. Но серость свою не показывай. Со старшими надо здороваться.

1969

Валенки

У Косовых дом разодет, как невеста. На веревках вокруг дома развешаны яркие шелковые платья, задорно переливающиеся на солнце, всевозможные шали, полушалки, платки, ситцевые и шерстяные отрезы, одежда верхняя, обувь, меховые шапки.

По-старинному сказать — это сушка нарядов, от моли, от мышей, но в то же время это и смотр благосостояния семьи, приданого дочерей. И надо ли говорить, что Дарья Леонтьевна, хозяйка всего этого великолепия, сияет с головы до ног! Это ведь она все нажила, своими рученьками нажила двенадцати лет от родителей осталась.

Я от души радуюсь вместе с Дарьей Леонтьевной и с удовольствием обхожу весь этот пестрый, пахучий парад и вдруг на видном месте, возле самого крыльца, замечаю два старых, растоптанных, без подошв черных валенка.

— А эти молодцы как сюда попали?

Дарья Леонтьевна молодо смеется.

— А от этих молодцов я жить пошла.

— Жить?

— Жить. Мне эти валенки в лесу дали. Первая премия в жизни. И вот жалко, никак не могу выбросить.

Дарью Леонтьевну прошибает слезой.

— Ох, как вспомнишь все свои стежки-дорожки, дак не знаешь, как и на сегодняшнюю дорогу вышла. Мне четырнадцать лет было, когда меня на лесозаготовки выписали. И вот раз прихожу в барак из лесу. «Новый год, говорят, Дарка, завтра у людей». Эх, думаю, и мне надо Новый год отметить. А как? Чем? У нас тогда, в войну, не то что хлеба, картошки-то досыта не было. А давай, думаю, у меня хоть валенки сухие в новом году будут. Положила в печь, легла на нары. Думаю, полежу немножко, выну. А проснулась утром — в бочку железную бригадир коло-тит. Я вскочила, к печи-то подбегаю, заслонку открываю, а у меня от валенок-то одни голяшки. Сгорели. Жарко, вишь, топили печь. Стены-то в бараках худые — к утру все выдует, куржак в углах-то, зайцы белые.

Я вся в слезах к начальнику лесопункта. Босиком. По снегу, как сейчас помню, — конторка напротив барака стояла. «Так и так, говорю, Василий Егорович, у меня валенки сгорели, что мне делать?» — «А что хошь делай, а чтобы к утру завтра была на работе. А то под суд отдам».

Пошла домой — восемь верст до дому. Из шубы маминой два лоскута вырезала, ноги обернула да так и иду зимой по лесу. Пришла домой, а что возьмешь дома? Катя, сестренка младшая, в детдоме, изба не топлена, на улице теплее.

Вот я села на крыльцо, плачу. Идет старичок, Евграф Иванович, конюхом робил. «Чего, девка, ревешь?» — «Валенки сожгла. Начальник сутки дал, а где я их возьму». — «Ничего, гово-рит,

не плачь. Пойдем ко мне на конюшню, что-нибудь придумаем». Вот пришли на конюшню, тепло у дедушки, да я только села на пол к печке, прижалась, как к родной мамушке, и уснула. До самого вечера спала. А вечером меня дедушко Евграф будит: «Вставай, говорит. Ладно, нет, я чего скорестил». Я гляжу и глазам не верю: бурки теплые, эдаки шони из войлока от хомутов старых сшил. Я надела бурки да до самого барака без передышки бежала. В лесу темно, разве звездочка какая в небе мигнет, а я бежу да песни от радости пою. Успела. Не отдадут под суд.

А через полгода, уж весна была, приезжает к нам сам. Секретарь райкома. «Говорите, кто у вас ударник». — «Дарка, говорят. Всех моложе девка, а хорошо работает». — «Чего хочешь? — говорит, это секретарь-то. Чем тебя наградить-премировать за ударную работу на трудовом фронте?» — «А дайте, говорю, мне валенки». — «Будут тебе валенки. Самолучшие». И вот осенью-то мне валенки черные привез. Опять сам. Верный человек был. Раз уж что сказал — сделает.

Я долго их носила. Бережливо. Первые-то пять только как выходные, а потом уж и каждый день, какие у меня эти валенки.

1974

Отомстил

Прошка Сальников, водопроводчик из нашего жэка, в ту пору, по его словам, только-только вставал на колеса, и деньги нужны были позарез.

Во-первых, получил комнатуху (первую в жизни!) — надо худо-бедно оснастить? А во-вторых, жена на развале — тоже расходы. Коляска там, кроватка, бельишко — это самое малое.

Короче, без халтуры не обойтись.

Две недели убивался Прошка за городом — одной старухе сруб для дачки подрядился поставить. Ел всухомятку, спал три-четыре часа в сутки, да и то в шалашике, а уж октябрь был, и работку сделал на совесть (не растряс еще к тому времени деревенскую дурь). В общем, прини-май, старая, да выкладывай пятьсот рублей, как договаривались.

Старуха отвалила пятьдесят.

Прошка кричал, ругался, выходил из себя — но чем докажешь, что такой уговор был? Где бумага?

— Ну ладно, стерва старая, — сказал на прощанье, — спасибо за ученье. Ты меня ободрала как липку, но и тебе не жить в новом доме. Сгоришь!

Ушлая, бывалая старуха нажаловалась в милицию. Но разве он к тому времени не прошел уже всеобуча стервозности у той же самой старухи?

— Впервые слышу. Знать ничего не знаю.

Шло время. Прошка мало-помалу обзавелся самыми нобходимыми досками так на его языке называется мебель, — жене, ребенку дал нужную оснастку, а обида не утихала. Не мог позабыть старухиной наглости.

Но как отомстить? Спалить, как грозился? А суд?

Помог случай. Однажды он сильно порезал руку и, как водится, залил порез марганцовкой, а потом стал заправлять зажигалку, да обмакнул залитый марганцовкой палец в бензин — жаром запылала рука.

Мозги у Прошки заработали: а нельзя ли с помощью этой самой химии вызвать огонь?

Взял бутылку, налил в нее бензина, сыпанул марганцовки, отнес на пустырь.

Опыт удался: ровно через три недели бутылка взорвалась, и на пустыре вспыхнул пожар.

Дальше всё было просто: бутылку с бензином и марганцовкой Прошка подложил под сруб старухиной дачки, и та в положенный срок сгорела.

Претензий, само собой, к нему не было и не могло быть никаких. Никто не видел его в тот день возле старухиной дачки, да к тому же у него было алиби: не пожалел денег, весь день высидел в ресторане.

Но вот русский человек! Мало ему простой мести. Мало того, что сгорела дачка. Надо, чтобы старуха еще от ярости покорчилась на его глазах.

Короче, отправился Прошка к старухе и прямо с ходу: так и так, мол, поняла теперь, как надувать честного человека? Где твоя дача? Сгорела? А кто сжег? Я.

Старуха, как он и ожидал, не поверила, и тогда он неторопливо, со всеми подробностями рассказал, как спалил дачку.

И всё было бы хорошо — закрыто дело, да, на его беду, в соседней комнате (тут он опять дал осечку) сидели две старухиных приятельницы, и вот их-то старуха и выставила свидетелями на суде.

Прошке дали условно два года исправительно-трудовых работ да еще обязали выплатить старухе пять тысяч рублей.

1975

Самая счастливая

Нас от отца осталось — полна изба. И все девки. Из мужского-то один Тихон был. А в сусеках горстки муки нету. Матенка день и ночь бьется, потом-кровью обливается, а все ничего, все хлебница пуста.

Ну, долго ли, коротко ли — рассовала нас по людям. Брат Тихон в город ушел, а меня, двенадцать лет было, в монастырь свела. Да подумай-ко, я там, в эдаком-то аду, девять лет выжила. Девять лет на волосатых дьяволов стирала.

Разбудят, бывало, в три часа утра да стой-ко у корыта до восьми вечера. Дак уж напоследок-то стираешь — ничего не видишь и не чуешь, в глазах все так и ходит. Руки щелоком разъест до мяса. Красные. Как лапы у голубя. Жалели мыла-то монахи, все на щелок нажимали. А зимой-то в проруби полоскать! Стужа — хозяин собаку из избы не выгонит, а ты идешь на реку да выпо-лощешь двадцать пять кузовов. Да месяц пройдет, тебе за это рубль и отвалят.

Вот как меня в святых-то местах мытарили. Бывало, матенка придет, поплачет-поплачет да так ни с чем и уйдет: не к чему ведь дома-то прийти.

А что вот: как ни жила, как ни мучилась, а молодо дак молодо и есть подошло воскресе-нье, и нет-нет да и выйдешь куда. Теперь вот смотри, какая ягодка — собаки пугаются, а тогда, видно, не такой была. Идешь где работники глазами едят, по коридору ступишь — монах так и норовит за груди щипнуть, да, бывало, как двинешь в рожу-то волосатую — снопом летит.

Ядрена, ядрена была, не обидел Бог здоровьем-то, мешки с мукой в шестьдесят лет вороча-ла, ну а супротив своего старика, тогда-то не старик был, кровь с молоком, не устояла. Поглядом взял. Всех — и монахов, и работников от себя отшвыривала, как щенят, кидала, а тут глазом повел и делай, что хошь, — ни рукой, ни ногой не шевельнуть.

Забрюхателa.

Ну что поделаешь, сама виновата. С мамой посидели-поплакали: такая уж судьба. А чтобы Олексею жалиться, слово сказать — это старику-то моему, мне и в голову не приходило. Из хорошего житья человек, первый жених на деревне — да разве ему с Олениной девкой вожжаться? Бесприданница, да еще и ворота на запоре держать не может. Раньше ведь строго было насчет девьей чести, не то что ноне.

А Олексей узнал, что я забабилась, — к родителям: так и так, отец и мати, кроме Олениной девки никого брать не буду.

Те его и лаской и таской, и добром и батогом — горячий отец был, ну Олексей на своем: не быть под моей рукой никому, окромя Окульки.

Отец распалился:

— Ах так! — говорит. — Отец-матерь тебе не указ? Ну дак живи как хочешь. Ничего не дам.

И не дал. Мы три года в черной бане жили, три года дымом давились. Первую-то квашню я в чем, думаешь, развела? В шайке, из которой в бане мылись.

Олексей — спать ложиться: «Пой, женка!» Да я, веришь ли, сроду так не певала. Вся деревня выходила на улицу нас слушать. «Окулька-то, говорят, не диво, что пост. Той как не петь, лучше-то не живала, смалу в людях. А Олексей-то чему радуется?»

А мы с Олексеем быстро на ноги встали. Дом выстроили. Одни, всем в удивленье. Я заместо напарника была — и под дерево, и на дерево. Да, бревна вместе с Олексеем подымала и на углу с топором вместе сидела. И опять, бывало, вся деревня глаза пучит: ведь ни в жизни не видали, ни в сказке не слыхали, чтобы баба с топором управлялась.

Дом построили, хозяйством обзавелись, к нам и свекор-гроза пожаловал.

Старик беспомóщной стал да слепой еще — кому такой надоть? Все три сына отказались. Иди, говорят, теперь к Олексею. Ты у его еще не жил. А как к Олексею-то идти, когда он его из дому выгнал, иголки не дал?

Я утром вышла — кто у нас на крыльце сидит? А то свекор. Колотиться-то не смеет, вот и сидит на крыльце. А холодно. Зима. Самые раскрещенские морозы.

Я старика на руки да в избу, да на печь. А потом напоила, накормила да в бане намыла — его вошь съела. Ну дак уж он как малый ребенок плакал:

— Прости, прости, Окулина. Я не воздал тебе за твою доброту, дак пущай хоть Бог воздаст.

И вот не знаю, свекор ли намолил мне счастья (набожный был старик, не то что я, монастырка, так меня в деревне-то кличут), судьба ли у меня такая, а я самый счастливый человек по деревне. На войну четыре человека из моего дома уходило — муж, трое сыновей, и все четверо вернулись. А Олексеевы братья все там остались. Да что говорить? Три с половиной мужика по всей деревне вернулось, а у меня все четверо — это ли не счастье?

1979–1980

Новогодняя ёлка

Отчего так пакостно на душе, отчего я весь разбит, измочален? Перебрал вчера? Или от вчерашнего словоблудия все еще мутит?

Боже мой, боже мой! Собрались встречать Новый год — веселись, безумствуй, бурли, как шампанское! Так встречают нормальные люди самый прекрасный праздник в году. А мы на всю ночь развели высокоинтеллектуальный скулеж про нашу расейскую бестолковщину, про наши безобразия. И добро бы хоть польза была от него какая, добро бы хоть чувства свои гражданские, что ли, лишний раз отточили, пополнили свои запасы мужества и отваги на предстоящий год.

А то ведь как было? Рассказывали разные случаи, один отвратительнее другого — про бюрократический произвол, про взяточничество и коррупцию — и ни малейшего протеста, ни единого выкрика возмущения. Свыклись, примирились. И именно в этом был весь ужас, ибо кто собрался, кто сидел за столом? Писатели, художники, ученые — словом, те, кого принято называть наставниками, пастырями духовными.

Долго я, весь разбитый и измочаленный, лежал в постели, снова и снова прокручивая в голове все подробности вчерашнего вечера, унылым взглядом обводил комнату. Массивный, как сундук, телевизор во весь угол, полированный сервант, или стервант, как сказали бы мои деревенские приятели-остряки, заставленный всяким хрустальным барахлом, куклы франтоватых дамочек в национальных костюмах, которые я привез из заграничных поездок…

А где же новогодняя елка? Жена с племянницей обычно ставили елочку ко мне в комнату в самый канун Нового года — свежую, морозную, почти без всяких украшений, в своем натуральном наряде, и к утру она заполняла лесным духом всю комнату.

Так вот почему у меня непраздничнo сегодня на душе, начал я уже по-новому обьяснять причины своего дурного настроения, — елки в доме нету. Вчера жена и племянница два часа мотались по городу — не могли достать А без елки какой же Новый год?

В передней зазвенел звонок — почта, должно быть.

Она. Я узнал Олю-почтальоншу по шепелявому, захлебывающемуся голосу. Оля поздрав-ляла жену с Новым годом, и жена тоже поздравила ее, а затем, как я понял из дальнейшего разговора, хотела немножко, хотя бы десятью рублями отблагодарить ее за услуги — у нас большая почта и Оля иной день раз пять наведывается к нам.

— Нет, нет, — услышал я опять торопливый и шепелявый голос, — это наша работа, нам за нее платят. Вы меня обижаете…

Обижаете? Это ее-то обижают? Господи, получает каких-то восемьдесят рублей за такой каторжный труд (попробуй-ка на себе потаскать целыми днями пудовую сумку из дома в дом, с

лестницы на лестницу) да еще и «обижаете»…

Я пошел на подмогу жене.

Вижу, стоит в передней давно примелькавшаяся мне уже немолодая девушка в теплом платке. Серое дешевенькое, затасканное пальтишко с вытертым кроличьим воротником, старые суконные румынки, зубов спереди нет. А почему нет — гадать не приходится. Не очень-то разбежишься на ее капиталы.

И вот мы уже оба с женой уговариваем Олю принять от нас подарок. И снова: нет, нет.

Я надбавил пятерку — может, теперь будет посговорчивее?

— Вы меня обижаете! — сказала опять Оля. И сказала уже твердым, непререкаемым голосом, в котором, однако, угадывались с трудом сдерживаемые слезы.

И я глядел в ее большие, спокойные серые глаза и вдруг понял, что и в самом деле обижаю ее. Покушаюсь на самое дорогое богатство ее — честность и неподкупность труженицы.

Мне стало стыдно. Стыдно до слез. И в то же время какой свет хлынул в мою душу!

1977

Поля Открой глаза

— Узнаешь, нет? Але больно высоко вознесся, нас, грешных, не замечаешь? Давай дак разуй глаза-то. Так я и поверила тебе. Полю Малкину не узнал.

— Поля? Из седьмого класса?

— Ну то-то же.

Я так и эдак всматриваюсь в пьяную, развязную бабенку, незванно-нежданно ввалившуюся в избу, и нет, ничего не могу отыскать в ней от той черноглазой, смуглолицей девочки с гладкозачесанной головкой и пышной косой, которую мы звали Поля Открой Глаза. Звали за ее непомерную стыдливость и застенчивость, ибо она всегда ходила с полуопущенной головой и полузакрытыми глазами.

Когда Поля выпила стопку (ради даровой-то выпивки и зашла), она с ухмылкой сказала:

— Ты вот, как меня в седьмом классе звали, запомнил, а почто я такой-то отпетой стала, знаешь? Ничего не знаешь. Тебя кто учил-то? Профессора да всякие ученые? А меня жизнь-матушка. Ты после седьмого класса прямиком в восьмой. Так? А я куда? А я в лес. А почто в лес? А пото, что себя кормить надо да еще мелюзгу. Отец умер, нас шестеро осталось, и я самая старшая. Вот и дали мне путевку к пню — лес возить. Это четырнадцати-то лет.

Я села в сани: «Поехали, Карюха». А Карюха и не думает ехать. Я так, я эдак: милая, хоро-шая, дорогая. А милая да хорошая ни с места. И вот вечером мне и пайки нету: задание дневное не выполнила. А еще через день меня к начальнику лесопункта: «Как это понимать? Саботаж але вредительство?»

У меня были из дому сухари житние, сама не съела, а наутро все кобыле скормила. Думаю, поимеет совесть, пойдет. А она опять ни шатко ни валко. Я плачу, я горькими обливаюсь —

ничего поделать не могу. Спасибо, Василий Мартемьянович подвернулся. Старик, пилы наставлял. «Что, девка, плачешь?» «Кобыла нейдет. Я уж ее и упрашивала, и умоляла, и сухарями кормила…» «Ох, девка, девка, да не упрашивать эту кобылу надоть да сухарями задабривать, а матюкать. Она к этой политграмоте у мужиков приучена, а твоего языка она не понимает». Взял у меня из рук вожжи да как рявкнет, да как выпалит сто матюков в секунду, она, кобыла-то, и пошла. Вот так я обасурманилась, так я стала гнуть матюки, как медведица дуги.

А как я с этой, с белоголовкой-то, спозналась, дружбу свела рассказать? До тридцати лет в рот капли не брала, вот те Бог! Даже в День Победы — по сто грамм спирту дали, не притронулась. Егору Степановичу отдала. А тут решила на случку идти, напилась. Что, что морщишься? Небаско говорю? А баско-то в книжках, баско-то вы, писатели, сказки сказываете. А у меня какие сказки. До тридцати лет жила, ни разу с парнем не поцеловалась. С худым, мозгляком каким не хочу, а хорошие-то где они? Хороших-то на войне поубивали.

Вот так я и дожила до тридцати лет девушкой на все сто процентов. А тут спохватилась: да что же это я делаю-то? Ведь так я и зачахну стопроцентной девушкой, ха-ха. А где любовь? В романах, в кино вешаются да травятся из-за этой любви, а я жизнь прожила и не отведала. Вот тогда я первый раз с бутылкой-то и спозналась. А как? Надо идти на поклон к Ваньке Олешичу (один он у нас был сознательный, никого не отталкивал), а меня тошнит от одного вида его. И вот для храбрости я сама хватила стакан да еще ему за труды бутылку прихватила. Задаром-то он не работает, ха-ха…

Ну про любовь обсказала — дальше тайна, покрытая мраком. Але еще рассказывать? Могу. Это еще все подходы к моей жизни, а про саму-то жизнь, ежели хочешь знать, я еще и не начинала…

1970–1980

Слон голубоглазый

1

И как только я ни называл, ни крестил ее про себя, каких только прозвищ ни придумывал! Топало, бегемот, сундук ходячий, медведица двуногая…

Но все это было не то, все это в лучшем случае передавало ее внешний облик, ее громоздкость. Помню, я даже растерялся, когда впервые увидел ее, — такая вдруг громадина, такая вдруг стопудовая туша выперла из-за угла да еще в этом своем мужикоподобном, длиннющем, до колена, пиджаке из какого-то дешевого темно-синего сукна…

Я немного успокоился, когда на ум пришла вот эта самая кличка — слон голубоглазый. Тут уж было кое-что ухвачено и от ее характера, от ее внутренней сути. По крайней мере — от ее доброты. Ибо всякий раз, встречаясь со мною (а мы как соседи по двору встречались почти каждый день), она улыбалась мне своими голубыми, прямо-таки ангельскими глазами (это при ее-то габаритах!) и с какой-то обезоруживающей простотой и даже застенчивостью, всегда одним и тем же, ровным и тихим, чуть-чуть шепелявым голосом спрашивала:

— Как вы поживаете? Как ваше здоровье? Как вам работается?

Я, конечно, отшучивался, говорил какие-то банальности, пустяки. А что было делать? Не принимать же всерьез все эти расхожие, изо дня в день повторяющиеся благоглупости? Но,

странное дело, с некоторых пор я стал замечать: после встречи с Марией Тихоновной мне весь день было как-то легко и хорошо, и даже лучше работалось.

Между тем время шло. Прошла осень (первый раз я встретил Марию Тихоновну в солнечный сентябрьский день, когда весь наш двор был засыпан золотом опавшего листа), прошла зима, весна зелеными тополями вскипела у нас на дворе, а мы как раскланивались при встречах, так и продолжали раскланиваться. Да большего, откровенно говоря, я и не хотел.

И вдруг однажды приходит из университета жена (она читала курс русской литературы на заочном отделении, где работала Мария Тихоновна) и говорит:

— Марию Тихоновну видела.

— Ну и что?

— Приглашала на юбилей.

— На юбилей? На какой юбилей?

— На свой. Шестидесятилетие будет отмечать.

— Что ж, сделай доброе дело — сходи.

— Видишь ли, — сказала жена, — она нас вместе приглашала.

— Ну знаешь… Только мне теперь по юбилеям и ходить…

— Ничего. На часок — на два можно. Надо же уважить человека.

Я пришел в ярость. Конец мая, конец учебного года — да разве ей объяснять, ей растолковывать, что за жизнь в это время у преподавателя университета? Каторга! Дипломные и курсовые работы, завершение лекционных курсов и спецкурсов, подведение всевозможных итогов за год — по учебной работе, по научной, по воспитательной… А всякие там собрания и заседания, всякая писанина отчетная… Да тут не то что по юбилеям ходить — дыхнуть некогда. А потом, что меня еще вывело из себя, — как она не подумала о главном деле моей жизни? Да, да, именно в те годы в великой тайне от всех по ночам, в летние каникулы, в выходные дни, годами недосыпая и не отдыхая, — я сотворял свой первый роман, и завтра как раз было воскресенье — единственный день за эти две сумасшедшие недели, когда я хоть на час — на два мог засесть за свою любимую работу.

Жена дала мне выкричаться, дала отвести душу, а вечером, за ужином, снова завела разго-вор про юбилей: Мария Тихоновна старый, одинокий человек, у Марии Тихоновны никого нет: ни детей, ни мужа…

Я легко отбил и эту атаку: всех не пожалеешь.

Но жена не унималась:

— Всех-то ты жалеешь. Только и делаешь, что говоришь да пишешь о любви к людям. А вот на деле любовь к человеку проявить — к живому, к конкретному…

И тут жена вдруг расплакалась:

— А ты забыл, забыл, что сделала для меня Мария Тихоновна? Да если бы не она, может, меня

и на свете сегодня не было…

Были, были черные дни в нашей жизни. Написала жена кандидатскую диссертацию — на кафедре расхвалили до небес: новое прочтение раннего Горького, заметный вклад в науку, работу необходимо опубликовать… А через день та же самая кафедра вынесла решение: защиту диссертации отменить. И из-за чего? А из-за того, что накануне было партийное собрание университета и на том собрании выступил какой-то молодчик из породы так называемых бдителей. Потрясая с трибуны авторефератом диссертации, он заявил, что вот, мол, до чего докатился филологический факультет, кому доверил разработку боевых проблем партийности в литературе! Человеку, который в годину всенародного подвига отсиживался у немцев.

И напрасно, напрасно жена стучалась во все двери, искала справедливости, взывала к своим товарищам по кафедре: нет вины за ней, не по своей воле она, девчонка, два года заживо умира-ла в городке, внезапно занятом врагом. Закаменели. Оглохли и ослепли.

И вот в это самое время, когда всё рушилось вокруг, когда, казалось, сама земля уходила из-под ног, — в это самое время ей и попалась на пути Мария Тихоновна.

Не знаю, до сих пор не знаю, чем так помогла жене Мария Тихоновна! Да и могла ли она вообще помочь, если говорить начистоту? Не то делопроизводитель, не то какая-то секретарша заочного отделения, а в общем, как говорится, из малых мира сего, — да что она могла сделать для жены? Какую такую особую роль сыграть в ее судьбе?

Я, однако, никогда не старался прояснить все подробности и детали этой истории. Во-первых, не хотелось лишний раз травмировать жену, а во-вторых… А во-вторых, надо правду говорить: в те трудные дни я и сам не лучшим образом вел себя. Меня в те дни тоже захватил какой-то всеобщий страх и малодушие, и в душе я не раз клял себя за то, что так легкомысленно, так необдуманно связал свою жизнь с человеком такой судьбы и тем самым навсегда погубил свою чистую, свою безупречную биографию, которая по тогдашним временам открывала передо мною все двери.

Слезы, сознание до сих пор не выветрившейся полностью вины сделали свое дело, и в конце концов я махнул рукой: быть по-твоему! Пойдем, пойдем на юбилей.

2

Вечер был — чудо. Золотой закат во все ленинградское небо, пушкинская Нева с каменны-ми сфинксами, которые нездешними, загадочными глазами вглядывались в медленно наплывав-шую на город белую ночь, первые цветы, первая зелень, широкие набережные, еще не остывшие от дневной жары и дымящиеся легким парком после полива…

И мы шли с женой по этому сказочному городу, наслаждались всей окружающей красотой, и я был счастлив. Счастлив от своего великодушия, от своего благородства, оттого, что я не зачерствел, как другие, душой, откликнулся на простой человеческий зов. И я представлял себе, как обрадуется сейчас старуха, увидев меня в дверях, какой переполох вызовет мое явление у ее невзрачных подруг — всех этих секретарш, делопроизводителей, лаборанток…

Так мы дошли до Дома ученых на Дворцовой набережной, и тут я опять, который уже раз за сегодняшний вечер, посмотрел на жену: не ошиблась ли она? Действительно ли в этом роскош-ном дворце назначен ужин? Ведь сюда даже известные ученые далеко не всегда могут пробить-ся.

Жена ответила уже известным мне доводом:

— Да говорю тебе, все дело в столовой. Тут хорошо кормят и недорого.

Однако когда мы вошли во дворец, столовая, по словам мордастого, раззолоченного швей-цара, была уже закрыта, и единственный банкет, который проводится сегодня в Доме, был на втором этаже, в главном банкетном зале.

В величайшем смущении, сопровождаемые подозрительным взглядом швейцара, мы по широкой мраморной лестнице, устланной коврами, поднялись на второй этаж и вступили в непривычный, сказочный мир дворцового великолепия.

Ерунда, ерунда какая-то, — оробело твердил я про себя и, уж не помню как, открыл какую-то дверь. Открыл и буквально замер: такое праздничное сияние огней, такое праздничное многолюдье увидел в зале. И кто, кто восседал в центре этого многолюдья, за главным столом, утопавшим в цветах? Мария Тихоновна, моя соседка по двору, в своем неизменном синем пиджаке.

3

Я начал понемногу приходить в себя, уже сидя за столом. Много, много было гостей! Профессора, доценты, ассистенты, аспиранты. С геологического, с географического, с биологического…

Многих из них я знал лично, уже сколько лет встречаясь на разных собраниях и совещаниях. Но тут было немало и таких, кого я видел впервые, кто жил и работал, как я узнал от своей соседки, дамы строгой и сердитой, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, на Кольском полуострове.

— И что же, они специально приехали на этот вечер?

— Ну а как же! Да на юбилей Марии Тихоновны люди с того света приехали бы, а уж с этого-то что.

К нашему приходу (а мы с женой все по тем же моим амбициозным соображениям опоздали на сорок минут) главные речи и тосты были уже произнесены, и теперь в права вступали чувства, которые то и дело то тут, то там, как шампанское, выплескивались через край.

— Мария Тихоновна, вы были для меня как родная мать! Честное слово!

— А я Марии Тихоновне обязан жизнью… В тридцать третьем году меня исключили из комсомола, а значит, и из университета, как сына кулака. И если бы не Мария Тихоновна… — Голос говорившего дрогнул. — В общем, так: первую свою дочь я назвал Марией, и мой сын свою первую дочь тоже назвал Марией. И я хочу, чтобы обе мои Марии хоть немного, хоть капельку походили на вас, Мария Тихоновна…

— А я на всю жизнь запомнила слова, которыми меня Мария Тихоновна вытащила из беды: «Смотри не на тех, кому лучше, смотри на тех, кому хуже…»

— Товарищи, товарищи… — Мария Тихоновна поднялась. — Нельзя же так. Это уже похоже на культ.

По столам прокатился смех, хохот, затем известный ученый-географ Василий Павлович, как бы

подводя итоги, сказал:

— Наши дела, дела людей науки, измеряются статьями, книгами, открытиями, а чем, какой мерой измерить дела души, дела сердца?

Кто-то за дальним столом от полноты чувств закричал:

— Предлагаю учредить новую ученую степень — степень доктора доброты и человечности и первой присвоить эту степень нашему юбиляру!

Я посмотрел на жену, — в глазах у нее стояли слезы, да у меня и самого горло перехватывало, и вдруг я понял, что значила Мария Тихоновна в жизни этих людей.

Дети железного века, века, когда исчезли, позабылись такие слова, как сострадание, милосердие, жалость. Но она-то, Мария Тихоновна, знала, ведала силу этих слов. И сколько человеческих сердец отогрелось, оттаяло возле нее! Сколько отчаявшихся воспрянуло духом!

Между тем волны всеобщего энтузиазма, которые одна за другой обрушивались на Марию Тихоновну, стали понемногу стихать. Подвыпившие гости, как это всегда бывает на банкетах, начали члениться на группы и группки, пошли разговоры уже свои, не имевшие прямого отношения к юбилею, потом кто-то завел радиолу, и вот уже две-три пары закружились в вальсе.

4

Была, была своя Мария Тихоновна и в моей жизни.

В тридцать втором году я окончил начальную школу первым учеником, и, казалось бы, кто, как не я, должен первым войти в двери только что открывшейся в соседней деревне пятилетки? А меня не приняли. Не приняли, потому что я был сын середнячки, а в пятилетку в первую очередь, за малостью мест, принимали детей бедняков и красных партизан.

О, сколько слез, сколько мук, сколько отчаяния было тогда у меня, двенадцатилетнего ребенка! О, как я ненавидел и клял свою мать! Ведь это из-за нее, из-за ее жадности к работе (семи лет меня повезли на дальний сенокос) у нас стало середняцкое хозяйство, а при жизни отца кто мы были? Голь перекатная, самая захудалая семья в деревне.

Один-единственный человек понимал, утешал и поддерживал меня. Тетушка Иринья, набожная старая дева с изрытым оспой лицом, которая всю жизнь за гроши да за спасибо обшивала чуть ли не всю деревню.

Пять месяцев изо дня в день я ходил ночевать к ней. Днем было легче. Днем я немного забывался на колхозной работе, в домашних делах, а где спастись, куда убежать от отчаянья вечером, в кромешную осеннюю темень?

Я брел к тетушке Иринье, которая жила на краю деревни в немудреном, с маленькими старинными околенками домишке. Брел по задворью, по глухим закоулкам, чтобы никого не встретить, никого не видеть и не слышать. Нелегкое было время, корежила жизнь людей, как огонь бересту, и как было не сорвать свою злость, не отвести душу, хотя бы и на малом ребенке.

И вот только у тетушки Ириньи я мог отдышаться и выговориться, сполна выплакать свое неутешное детское горе…

Танцы продолжались, моя жена тоже была в кругу танцующих, и за столом, похоже, остались мы вдвоем — я да Мария Тихоновна.

Мария Тихоновна сидела напротив меня, задумавшись и подперев щеку рукой. Широкое скуластое лицо ее окутывал полумрак (свет для уюта пригасили), и я залюбовался ее прекрасными голубыми глазами…

Где, где я видел раньше эти глаза — такие бездонные, кроткие и печальные? На старинных почерневших портретах? Нет, нет. На иконе Богоматери, которую больше всего любили и дочитали на Руси и которую я впервые увидел на божнице у тетушки Ириньи…

Марии Тихоновны давно уже нет в живых, и я даже не знаю, где покоится ее прах. Но в те дни, когда мне бывает особенно тягостно и безысходно, я вспоминаю ее юбилей.

1979

Из колена Аввакумова

1

Шоферишко попался мне необкатанный, из молокососов, да еще с норовом: я ему — в объезд, он — прямо, я ему — прямо, он — в объезд. Ну и вляпались — сели на брюхо, по самую ось. Да где? На большой дороге возле Пинеги, как раз напротив Койды, там, где на веку никто никогда не застревал.

Если бы у нас был с собой топор, была цепь, лопата, всё было бы просто. Бревно, хламину какую под колесо, большую грязь отрыл, откопал и жми на газ. А то ведь у этого сопляка не то что нужного инструмента, самого дрянного ножа не оказалось.

Долго, часа полтора, плясали мы вокруг машины, но что сделаешь голыми руками? И в конце концов насмерть измученные, грязные, потные, мы сели возле дороги под березы и стали ждать — авось кто-нибудь проедет, не глухой проселок, главный Пинежский тракт.

Но шло время. Я выкурил одну папиросу, другую, шофер сбегал к реке выкупаться (нынеш-няя молодежь даром время терять не станет), а подмоги всё не было, и по-прежнему ничего, кроме шелеста разыгравшихся на ветру берез, не было слышно.

— Постойте, а какой сегодня день-то у нас? — вдруг осенило шофера. Не воскресенье?

— Воскресенье.

— Ну дак хоть до самой ночи тут загорай, никого не дождешься. В Койду ехать надо, — сказал он решительно.

Койда была на другом берегу, и попасть туда не составляло большого труда. Но я не спешил. За этой деревней у нас издавна водилась недобрая слава.

Есть на Севере, а точнее сказать, на Пинеге и на Мезени, такая женская болезнь — икота, которая, правда, сейчас немного поутихла, а еще совсем недавно редкую работную бабу не трепала. Найдет, накатит на бедную — и мутит, и ломает, и душит, и крик и рев на все голоса — по-собачьи, по-кошачьи, и даже самая непотребная матерщина иной раз срывается с губ.

Медицинская наука на эту болезнь обратила внимание лишь в самые последние годы, о ней

даже в Большой Советской Энциклопедии нет ни слова, и потому в наших местах доселе считается: икоту садят, икоту насылают лихие, знающие люди — икотники и гнездом этих икотников является Койда, небольшое старинное селеньишко, отгороженное от большого мира рекой.

Я, конечно, во все эти россказни давно уже не верил, но вот поди ж ты: когда мы в утлой, допотопной осиновке-долбенке переправились на ту сторону да стали подходить к деревне, у меня не то чтобы озноб по телу пробежал, а все какие-то иголки внутри ощетинились.

У шофера в верхнем конце жили дальние родственники, и он предложил мне пойти к ним («Чаишку хоть по стакану выпьем, ежели не будет ничего посущественней»), но я решил пройтись по деревне: кто знает, доведется ли еще когда побывать тут.

Лет десять я не был в Койде, и, конечно, за это время она не стала лучше. Да и как она могла стать лучше, когда была приговорена к сносу. Новой постройки ни одной, а старые полуразвалившиеся, осевшие дома, как старые лошади на лугу, — неподвижные, безмолвные, погруженные в какую-то беспробудную дрему.

И мне жалко, до слез жалко было этих деревянных доходяг, но в то же время мне было и хорошо с ними. От них пахло согретым на солнце деревом, зеленая травка подступала к самому крылечку, и небо, вольное деревенское небо над головой. Не то что в моей родной деревне, где все опутано проводами да изрыто и перепахано тракторами и бульдозерами.

2

Старуха была старая-престарая. Она сидела на бревне возле дороги, уткнувшись подбо-родком в клюку, босиком, в синем старинном сарафане с лямками и, казалось, ничего не слышала, ничего не замечала. Но когда я подошел к ней поближе, она вдруг повернула в мою сторону морщинистое лицо и с интересом посмотрела на меня не по годам черными, живыми глазами.

— Что, бабушка, на солнышко погреться вышла?

— Вышла. Дочерь поджидаю. Где-то с утра ушла за хлебом и всё нету. За пять верст в Ровду ноне за хлебом-то ходим.

— Далековато. А что, свой-то магазин не работает?

— Не работает. Третей год как лавку у нас прикрыли, а скоро, сказывают, и деревню прикроют. Какие-то порядки пошли — живую землю хоронить… Да ты чей будешь-то — спрашиваешь? Не здешний, видно?

Я назвался приезжим, подсел к старухе и тут же едва не вскочил — так ошарашило меня имя старухи.

Соломея! Или Соломида по-нашему. Самая что ни на есть главная икотница Койды.

Я немного успокоился, когда к старухе, часто дыша открытой пастью (жаркий день был, с солнцепеком), подошла молоденькая, недавно остриженная овечка и доверчиво уткнулась ей в колени.

— Что всё трешься да трешься возле меня? Не ленись, пощипли, травки-то. Ну, иди, иди с Богом.

Старуха оттолкнула овечку, перекрестила темной, вздрагивающей от старости рукой, а потом перекрестилась и сама. При этом перекрестилась, как я заметил, двуперстным крестом, и я спросил:

— Старой веры держишься, бабушка?

— Старой. Через все страданья, через все испытанья с двуперстным крестом прошла.

— А много было у тебя страданий и испытаний?

Старуха вдруг всхлипнула, слезы вскипели у нее на глазах, но так же быстро, как у малого ребенка, и высохли.

— Не обделил, не обделил меня Господь страданьями. И с голоду сколько раз помирала, и ноги отнимались, и мужа насмерть убивали, и по тюрьмам, по острогам злые люди водили. А в деревне-то своей я как весь век выжила! Как в пустыне. Никто в гостях у меня не бывал, никто дочерей моих взамуж не взял — все пятеро так на корню и посохли.

Я знал, мне известны были причины старухиных бед, но в эту минуту у меня невольно вырвалось:

— Да за что же тебя так, бабушка?

— А из-за напраслины. Из-за того, что в икотницах весь век хожу. Кто чем ни заболеет, у кого скотина ни падет — всё Соломида-верста виновата (это меня по мужу ругают), она икоту посадила, она порчу наслала. А я, видит Бог, — и тут старуха опять истово перекрестилась, — ни делом, ни помыслом не грешна. Всю жизнь Божьим словом живу, всю жизнь оберуч, как за веревку, за стару веру держусь. С той самой поры, с того самого время, как в Пустозерье ходила.

— В Пустозерье? В какое Пустозерье?

— Одно Пустозерье на свете, — посуровевшим голосом ответили старуха. В студеных краях, у Печоры-реки, где лиходеи великого праведника и воителя за истинные веры протопопа Аббакума сожгли.

У меня не было оснований не верить старухе, и все-таки в голове не укладывалось. Ведь это Пустозерье, или Пустозерск, — где? За четыреста пятьсот верст от Пинеги, куда и ходу-то раньше не было. Летом из-за бездорожья, из-за гнуса — живьем комар сожрет, а зимой опять снега, холода — куда попал?

— Ходила, — вздохнула старуха. — Девкой еще ходила. По обвету. Раз пришла с пожни, далеко у нас покосы были, на Вырвее, может, сорок але боле верст будет, да все суземом — сырыми ельниками, а дома у мамы гости: Иван Мартынович с Заозерья с женой да родня из своей деревни. «Что, девка, спрашивают, устала?» Да с чего устала-то? Нисколешеньки, говорю, не устала. Я еще, говорю, на игрище побежу. И побежала. У самой красные да черные колеса в глазах катаются, а побежала. Девка. Славы хорошей хочу. Думаю, скорее взамуж возьмут. А назавтра утром — мама зовет, шаньги поспели — я и на ноги встать не могу. Не мои ноги. Не стоят, подгибаются — нету костей. Вот как меня Господь-то Бог за похвальное слово наказал. Ну, погоревали, поплакали мы с мамой — в самую страду работница обезножела, — да что поделаешь? Так, видно, Богу угодно, такова, видно, его святая воля. Стали меня в сенную запарку сажать, стали мурашиным маслом растирать, баню через день топить — все мертвые ноги, все ничего не помогат. А помощь пришла всё от того же Господа Бога Он, милостивец,

ноги у меня отнял, он и вернул.

Была у нас в деревне старушка благочестивые веры, век скоромного не едала. Так и звали — Марья-постница. Вот эта-то Марья-постница меня и наставила: «Брось, говорит, девка, бесов тешить. Никакие тебе запарки-припарки не помогут, а поможет тебе, говорит, вера истинная да обвет». О, бабушка, бабушка, плачу, да я хоть какой обвет дам, только бы ноги ожили! «Тяже-лый, говорит, обвет на тебя наложу. Перво-наперво, говорит, на гулянках, на игрищах больше ни разу не бывать. Хватит ли у тебя на то духу?» Хватит, говорю. А сама голоса своего не чую, у самой свет в глазах погас. Понимаю: на гулянках, на игрищах не бывать, да и взамужем никогда не бывать. Ну, второй обвет — в стару веру перейти — ничего, вроде полегче, после первого-то не ноша. Так тогда по молодости-то своим умом рассуждаю. Ну а как третий-то обвет наложила — я и расплакалась. Сходить в Пустозерье к святому великомученику Аббакуму, кресту евонному поклониться. Да ты, говорю, изгилеешься надо мной, баушка. Я до ветру на ногах сходить не могу, на коленцах ползаю, а ты о каком-то Пустозерье баишь. «Будут, говорит, у тебя ноги. Господу Богу угоден будет твой подвиг, даст и ноги. А теперь, говорит, шесть ден тебе стоять на коленях на молитве. От восхожего до захожего. И об одном думать, про одно молить Господа Бога — чтобы силы дал подвиг совершить. За всю жизнь, говорит, как на свете живу, не слыхала, чтобы с Пинеги какой человек ходил в Пустозерье, а ты, говорит, сходишь, тебе, говорит, откроет всевышний пути-дороги в святую землю, где сподобился страдалец наш в муках огненных райский венец приять. Только, говорит, молись с усердием, так, говорит, молись, чтобы ни единого помысла, ни единого вздоха у тебя ни о чем другом не было, чтобы во всем теле жар стоял, ровно как в пещи ты огненной. Шесть ден, говорит, стоять тебе на молитве, с понедельника до субботы. А в субботу, говорит, усни и спи, говорит, сколько можешь, хоть всю ночь и весь день. А как проснешься, говорит, в христово воскресенье, крестом себя истинным, двуперстным осени и вставай на ноги. Крепче, говорит, прежнего, крепче, говорит, дерева и камня у тебя будут ноги».

И все так, как сказала Божья угодница, все так и вышло. Вернул Господь ноги, доселе верно служат, доселе на зов Господен иду.

И тут старуха повернула голову на восток и с признательностью, широко и степенно перекрестилась.

После небольшой передышки я снова начал заворачивать ее на тропы далекого прошлого.

— Ох, родимой, родимой! День рассказывать — не рассказать, как я в Пустозерье-то ходила. Перво дело — где это Пустозерье? В студеных краях, на краю земли, где зимой и дня не бывает, всё ночь, а летом опять ночи нету, всё день, круглые сутки солнышко. А как туда идти-добираться? Откуда след начинать? Ну да надоть обвет держать, раз даден. Собрали меня дома в дорогу, котомку с хлебцами за спину, два медных пятака денег дали — иди, ищи Пустозерье. В городе Пинеге Микольская ярманка, со всего царства народ съезжается — может, там скажут. И сказали в городе Пинеге: обозы с рыбой с Печоры-реки есть, с има́, с тема́ обозами, попадать надоть. Четыреста верст але боле тайболой — лесами да тундрой — как одному человеку попасть?

Вот я и увязалась за тема́ обозами. Сподобилась принять крещение морозами да снегами. Страсть, страсть эти хивуса-ти тамошние — метели-то да бураны снежные. Как задует, задует, ни земли, ни неба не видно, по пяти ден из кушни, лесной избы, выбраться не можем. Все угорим, все облюемся — о беда. Але темень-то эта тамошняя. У нас о ту пору, возле рождества, свету немного бывает, а там день-то — как зорька сыграет, а то все ночь, все темень кромешная. Мужики звезды в небе ищут, по звездам едут, а я крестом себе дорогу освещаю.

Пальцы в рукавице в крест двуперстный зажала, да так с крестом истинным и прошла взад-вперед. Люди — вернулась — как на диво на какое на меня смотрят. Со всей Пинеги старухи-староверки да старики шли. Начну рассказывать, как ходила, какие муки претерпела, сама не верю себе. Думаю, таких больше на земле и страданьев нет, какие я вынесла. А нет, страданья-то да муки у меня начались, когда меня в Койду выдали.

Я ведь думала, раз с гулянками пришлось расстаться, век до гробовой доски в девках коротать, а нет, Господу угодно было через новые испытанья Свою рабу провести. Перво-наперво у мужа мужской силы не оказалось обабить меня не может. Год хожу порожняя, другой. Свекор и свекрова смотрят косо, мама родная грызет: доколе срамиться будешь? А я чем винова-та? Мне не тошно — два года ни девка, ни баба? И мужика жалко, хороший у меня мужик был. По ночам оба плачем — подушка утонула в слезах. Ну, тут дале вразумил меня Господь: всё от Бога. Он живот тебе дает, он и силу. Молись, говорю, мужику. День и ночь молись. И я буду молиться. Господь услышит нас. И Господь услышал. Раз ночью будит меня мужик: «Проснись, Соломида, у меня мужская сила появилась». И я проснулась, и мужик сделал свое дело.

Я никак не ожидал такой откровенности от старого человека и, чтобы скрыть свое смуще-ние, закашлял. Старуха, однако, сразу поняла это и всё с тем же простодушием и назидательно-стью сказала:

— Господь Бог создал людей, чтобы плодились и населяли землю и Господа Бога прославляли молитвой и добрыми делами. Нет греха спать со своим мужиком. Грешно прелюбы творить да в страстные дни сходиться, а в остатнее время божий мир любовью держится. Все Божьим словом да верой делатся. Божьим словом людей на ноги ставят, со смертного одра подымают. Я своего мужа Божьим словом из мертвых воскресила.

— Воскресила?

Старуха не сочла нужным как-либо прореагировать на мой изумленный возглас. Она продолжала:

— У меня мужик смалу в ненавидости у людей был. Раз сказал на похвас, чтобы от ребят оборониться, — бить стали: «Я на вас икот напущу», — да с той поры житья бедному не стало, а потом и мне, евонной жене, и девкам нашим. Вот ведь как к бесам-то взывать, а не к Богу-то. Хотел острастку другим дать, а взвалил на себя каменный жернов. Всё он, всё мы во всем виноваты: кто заболел, у кого скотина пала. А в то лето какой-то мор на корову да на овцу был. Что ни день, то одну, то другую зарывают. И вот уехал мужик к сену, на пожню, я немогу, дома осталась, только что Матрену родила, тяжелы роды были. Настает Ильин день, праздник большой. Все с пожни выехали, старый и малый, а мой где? Пошто моего-то нету? Набожный человек был, все праздники соблюдал. Ох, чует сердце, неладно с ним. Запрягла кобылу, две лошади у нас было, исправно жили, поехала навстречу. Еду, еду, все не видко мужика. Дале на сосновый бор выехала — чего это там, в стороне, вороны орут-разоряются? Подошла, а там мой мужик бездыханный лежит, хворостом закидан. Намертво у мужиков забит.

Я пала на колени, молитву Господу вознесла. Господи, говорю, ты вдохнул жизнь в глину мертвую, Адама-человека сотворил, а разве я не Твое творенье, Господи? Разве не твой превечный огонь во мне горит? Господи, говорю, дай мне силы-мочи мужа бесповинного из мертвых поднять. И Господь дал силы. Начала я дуть в холодные уста мужу, он у меня и ожил, «ох» сказал. Силой, силой слова Господня подняла. Я так, бывало, и животину строптивую укрощала. Конь был у Фокти-барышника дикой, никак объездить не мог. Пришел ко мне: «Соломида, ты слово знаешь, помоги. Какие хошь деньги заплачу». Лошадник был. Слово, говорю, знаю одно — Господне. И тем словом помогу. А платы мне никакой не надо. Только

табачину смолить перестанешь. И перестал, одним табачником меньше в Койде стало. А я лошадь в хомут ввела. Словом Божьим. Бо слову Божьему всё подвластно: и человек, и зверь, и гад ползучий. Святые-то угодники, в пустошах которые жили, какие чудеса в старину творили. Льва и медведя укрощали. И я одним словом Божьим мужика убитого воскресила.

Еду, подъезжаю к деревне, в одной руке вожжа, в другой Иван при смерти, а на нас новая смерть — мужики с кольями. На самом въезде в деревню. «Убить, убить!» — ревут. О беда, о горе горькое! Прощайте, родители, прощай, дочи-сирота. Тут нам и живот отдать. Некуда деваться. Наутек ехать — догонят. И вперед — порешат. Вспомнила: есть у меня заступа — Господь Бог. Ежели кто и поможет нам сейчас, дак Он, Всеблагой, Он, Милостивец. Взмолилась жарко: Господи, говорю, яви чудо. Сколько раз, говорю, в Пустозерье ходила, от смерти спасал, и тут, говорю, спаси. Не за себя, говорю, прошу, Господи. Мужу бесповинному не дай помереть, дочерь нашу не осироти. И тут мне голос сверху: крестом да огнем, крестом да огнем… А где огонь, где крест? Стоим на въезде в деревню, народ пьяный с кольями, собаки воют. Ну, опять Господь Бог на помощь пришел. Выдернула я кол из огороды, к колу кнутовище ременки привязала — крест. А огонь… Сарафан (голова у Ивана обмотана была, еще там, в лесу, с себя сняла) на крест намотала да в туес со смолой — к телеге привязан был. И вот народ с кольем да с палками на нас, а я на них с крестом огненным. В одной рубахе льняной, белой, и заливаюсь молоком. У других от страху молоко в грудях зажимает, а у меня все не как у людей — только в эту минуту молоко и открылось. Как плотину, скажи, прорвало. Вся рубаха вымокла от ворота до подола. Вот стою я на телеге в одной рубахе белой, а в руках крест огненный. На колени, говорю, ироды! Поклянитесь, говорю, словом Божьим, что никогда больше не тронете мужика, а то, вот те Бог, сейчас всю деревню спалю. И пали ироды пред Божьим крестом да огнем. «Не будем больше, Соломида. Прости». Господь, Господь выручил меня. Он, милостивец, пришел ко мне на помощь. Разве у смертного человека хватило бы силы одной на супостатов пойти, крест из кола поднять да огонь из себя родить? Я ведь на них, иродов, в одной рубахе да с крестом горящим как кара божия пала, как архандел Михаил в судный день явился. Откуда у меня о ту пору и огонь взялся. Тогда ведь и спичек не было, все кремешком искру высекали…

— Ну, после этого успокоились земляки, не досаждали больше?

— Ох, милой, милой! Человек бы успокоился, кабы с ним один андел был. А то ведь у нас по праву руку андел-хранитель, а по леву бес-искуситель. Было, было испытаньев мне отпущено. Не оставил Господь в праздности. В колхозе робила — все одна на поле, все понапраслина, как стена, меж мной и людями. Все Соломида всех портит. А начальство, то опять невзлюбило за то, что в христово воскресенье не роблю. Два раза в лагеря на отсидку гоняли. Я говорю: дайте мне хоть в три раза больше заданье — сделаю. Только не заставляйте христово воскресенье топтать. Ну, Господь не оставил меня. Я и там, за проволокой, Божьим словом спасалась. Как развод, бывало, на работу в воскресенье, мне прямо уж объявляют: «Староверка, в карьцер!» За то, что я и там не робила по воскресным дням. Попервости в погреб этот впихнут зуб на зуб не попа-дат. Руки коченеют. О, думаешь, хоть бы щепиночку какую дали, я бы и то обогрелась. А потом раздумаю: а слово-то Божье мне зачем дадено? Помолюсь, раскалю себя молитвой, вспомню про праведника Аббакума, как его в яме-то, в подземелье гноили да холодами пытали, голой сидел, мне и теплее станет. Словом, словом Божьим обогревалась.

В понедельник утром из погреба, из карьцера-то этого, выпустят шатаюсь, а улыбаюсь. Начальник заорет: чего улыбаешься? А то, говорю, улыбаюсь, что страданье дал, дозволил мне с Господом Богом наедине побыть. И тут еще поклонюсь ему в ноги. Спасибо, говорю. И вот мучил-мучил меня это когда вторым-то заходом я была в лагерях — да и выгнал. «Доконала ты, говорит, меня, бабка. Не хочу, чтобы ты от моих рук смерть приняла. Убирайся, говорит, с глаз долой. Чтобы духу твоего здесь не было».

— Да, бабушка, — сказал я, — не жизнь у тебя, а целое житие.

— Не обделена, не обделена страданьями да испытаньями. И то хорошо, то милость Господня. Через страданья да испытанья дорога в Царствие Божие лежит. Страданья да испытанья освещают нам путь в град всевышний. Ну, об одном прошу, об одном молю, Господи, — старуха перекрестилась и вдруг беспомощно, совсем-совсем по-ребячьи расплакалась, — не дай умереть с коростой клеветы бесовской. Сними понапраслину, сними жернов каменный. Хоть перед самой смертью, хоть в гробу пущай все увидят, кто раба твоя Соломида.

Я не знал, как утешить старуху, и только вздохнул.

Между тем она поглядела на солнышко и начала подниматься с бревна.

— Посиди еще, бабушка.

— Нет, Матрены, видно, не дождаться — на молитву пора вставать.

— Успеешь еще, — снова попытался я удержать старуху.

— Не говори так, — строго сказала она. — Молитва — перво дело, изо всех работ работа. Сила да разум каждый день человеку нужны, а без молитвы откуль их взять?

Я понял, бесполезно ее удерживать, да к тому же в это время на дороге раздалась пьяная песня: мой шофер в обнимку с высоким мордастым парнем подходил к нам.

3

На другое лето я, как только приехал на родину, отправился в Койду проведать старуху.

В низкой, на старинный манер избе — без обоев, без белил, без занавесок, одно золотистое дерево — меня встретила дочь старухи, тоже уже старуха, та самая Матрена, которую в прошлый раз, сидя на бревне, поджидала ее мать. Самой Соломиды в живых уже не было — она умерла весной нынешнего года.

— Хорошо померла, — начала рассказывать Матрена, то и дело вытирая слезы со своего простоватого, бесхитростного лица. — Легкая смерть была. Паску встретила, разговелась, а там уж и анделы прилетели, кончились земные страданья.

— Ну а все же, как это было?

— Как умерла-то? А вот сидели тут за столом, разговлялись, она и говорит мне: «Сходи-ко, говорит, за старухами, проститься хочу». Что ты, говорю, мама, ничего-то выдумываешь? «Иди, говорит, зови да пошевеливайся. Живо у меня!» Еще острастку мне дала. Ну, пришли старушон-ки. Мама на ноги поднялась, тут вот сидела, на лавке, встала лицом к иконам, перекрестилась. «Вот, говорит, скоро предстану перед Господом Богом, не грешна перед людями. Через всю жизнь, говорит, со словом Господним на устах прошла». А потом — старухи и в себя прийти не успели — легла прямо на пол вот так вот, глазами к божнице, руки крест-накрест, и померла. Ну дак уж старухи и бабы потом на коленях ползали перед мамой. «Прости, прости, говорят, Соломида. И нас прости, и всех прости, кто перед тобой согрешил. Мы ведь, говорят, всю жизнь тебя топтали да пинали, детям твоим житья не давали, а теперь, говорят, видим: святая меж нас жила».

Что ты, как не святая. Икотницы-то помирают — по целым дням кричат до корчатся, бесы

мучают. А тут ведь как голубок вздохнула. Смертью, смертью мама оправдалась перед всеми. Смертью своей сняла с себя и со всех нас понапраслину.

Под вечер Матрена проводила меня на кладбище, такое же старое и запустевшее, как сама деревня, и я долго стоял у песчаной могилы со свежим, еще не обветренным сосновым столбиком, на котором не было ни единой буквы, ни единого знака.

1978

Старухи

Я приехал в деревню без всякого предупреждения, в жаркий июльский полдень и, конечно же, в доме моего покойного брата никого не застал: все были на лугу, под горой, — и сама хозяйка, и ее дети.

Недолго раздумывая, я забросил чемодан в сени (у нас, на Севере, все еще живут по старинке, без замков) и покатил к тетке — уж она-то, старая старуха, наверняка дома.

Так оно и оказалось: тетка была дома, да не одна, а со своим старушатником — я за версту услыхал раскатистый смех из открытого окошка.

Тетка Люба, или Любка-прыть, как больше зовут ее в деревне, человек удивительный. За свои восемьдесят с лишним лет она, кажется, не хаживала шагом. Все бегом, все с вытянутой вперед головой, а в молодости, рассказывают, дело доходило просто до уморы. Раз пошла она на игрище в паре с кавалером, да забылась и давай махать во все лопатки. Опомнилась, аж когда люди кругом заржали.

Но главный-то теткин дар, который издавна притягивает к ее дому и старых и малых, — было слово. Тут она и подавно равных себе не имела. Уж как почнет чудить-скоморошить — про все забудешь: и про горести свои, и про усталь. «У нас так у отца было заведено, — говаривала тетка как бы в свое оправдание, — с опущенной головой гостя из дому не выпускать».

Я переступил теткин порог как раз в ту минуту, когда она, стоя посреди избы, маленькая, сухонькая, босиком (летом она обутки не признавала), что-то с жаром рассказывала хохочущим старухам.

Меня тетка попервости не признала — лет пять уж начала спотыкаться на глаза, и только когда ее дочь Анна, тоже уже по годам старуха, с притворной строгостью прикрикнула на нее (дескать, не видишь, кто к нам пришел), она живехонько посеменила ко мне навстречу.

Мы поздоровались по-старинному — в обнимку, прикладываясь щекой к щеке, и Анна по этому поводу заметила:

— Вот какая у них дружба, жонки. Посмотрите-ко, посмотри!

— Дак ведь у ей роднее и родни нету! — съязвила какая-то старуха.

Раздался дружный смех: всем было известно, что мы с теткой родня, как говорится, на девятом киселе и что называть меня своим племянником она стала ради красного словца. Как-то сидели у нее вот так же, как сегодня, старухи, вспоминали свою молодость, тетка возьми и скажи мне:

— А знаешь-ко, Олександрович, ты ведь мне родником должон быть.

— Родником?

— Да. Я ведь за брата твоего отца, Павла, собиралась было, да у его, у растяпы, догадки не хватило за мной поухаживать, вот я со зла-то и вышла за своего Луку.

На меня, как на свежего человека, приехавшего из большого города, старухи навалились всем скопом, едва я присел к столу. Все их интересовало: наши полеты в космосе, наши дела, касающиеся войны (это, конечно, в первую очередь — жуть, как народ не хочет войны), заработки в городе… Ну и, само собой, выспрашивали про мою жизнь: где служу (мою писательскую работу они всерьез не принимали), сколько получаю, на чем приехал из района — вместе со всеми в пыльном автобусе трясся или, сидя вразвалку, на цветастом ковре райкомовской легковухи?

Я отвечал нехотя, скороговоркой — мне самому хотелось спрашивать их: вы-то как теперь живете? У вас-то что нового?

Татьяна Марковна, здоровущая, краснощекая старуха, одетая по-городскому, заговорила первой:

— Ох уж наши новости! Какие у кулика на болоте новости, так же и у нас. Кто родился, кто напился, да кто убился — вот и все новости.

— Да какое болото наша деревня — на горе стоит? — с ходу возразила ей тетка и даже кулачишком своим сухоньким пристукнула по столу. — Люди из города приезжают — не нахвалятся. Такой красы, говорят, как ваша, во всех краях поискать, за морем нету, а она — нако — свою деревню хаять.

Тут я должен заметить, что Любава Лазаревна — такое полное имя у тетки — не только за родную деревню вступилась, которая и на самом деле хороша. Она терпеть не могла эту спесивую, забуревшую горожаху. В колхозе не рабатывала, век на чужой шее сидит — то на мужниной, то на сыновней, в деревню наезжает как дачница, только летом, — да ей ли судить-рядить?

— Нет, нет, — сказала тетка, — не болото наша деревня. А хоть бы и болото — что с того? Журавли тоже из болота на свет вылетают, вот.

Самолюбивая Татьяна Марковна шумно запыхтела — нож по сердцу ей обида, да еще на людях, а я поднял глаза к передней стене, где над окошком, рядом с зеркалом, висела увеличенная фотография Вани, теткиного внука, — это ведь его она имела в виду, когда сказала о журавлях. Ваня был парень сухой, долговязый, и тетка частенько говаривала: «Где тот у нас, журавей-от, нейдет?» Или: «Подождем-подождем за стол садиться. Вот-вот прилетит наш журавей».

Фотография Вани — веселая открытая мордаха — была на старом месте, но кого же я увидел в простенке между ним и божницей? Сталина. Да, да, самого Иосифа Виссарионовича.

Помните — влажный зачес назад прямых, еще темных волос над низким и узким лбом, тяжелые каменные скулы азиата и по-отечески ласковые, в легком прищуре глаза…

Так вот, именно этот самый портрет, так хорошо памятный мне по тридцатым годам (мы тогда, молодежь, молились на него), увидел я на передней стене у тетки. На самом видном месте. В рамочке. Под стеклом.

Изумлению моему, как нетрудно догадаться, не было предела. Ведь это не в городе я вижу, не

у какого-нибудь воздыхателя по тому золотому времечку, а у тетки, старой неграмотной крестьянки, — ей-то зачем это добро?

— Развесила! — хмуро кивнула в сторону тетки Татьяна Марковна. Она, конечно, не могла упустить такой случай, чтобы не ковырнуть тетку, тем более что в политике разбиралась: беднячка и активистка в прошлом — раз, а во-вторых, где живет? В городе. — Развесила! — осуждающе сказала Татьяна Марковна, — Людей-то пугаешь! Нельзя ведь — культ… — Последнее слово она выговорила с завидной четкостью и уверенностью. Чувствовалось, что оно у нее здорово обкатано.

Но черта с два возьмешь тетку голыми руками! Ведь вывернулась — золотом ответила на серебро.

— Ничего, — сказала тетка и по-старинному, учтиво поклонилась Татьяне Марковне, — от этого куля стена не проломится.

Старухи, давно уже с любопытством посматривавшие то на тетку, то на Татьяну Марковну, заулыбались, запосмеивались — всем понравился теткин ответ, а Анна, истая дочь своей матери, та просто расцвела от удовольствия.

— Вот какая она у нас, бабы! Ничего не боится. Попробуй-ко поговори с ней.

— А чего мне бояться — еще пуще разошлась тетка. — Живой медведь не съел, а мертвый подавно не съест.

— Да ведь нельзя, говорю! — уже не заговорила, а зарычала Татьяна Марковна. — Забыла, что на собраньи-то говорили кой год?

— А чего не говорили, да мне можно, — опять с легким поклоном ответила тетка. — У меня от самой партии разрешенье есть. Вот.

— Верно, бабы, верно, — быстро поддакнула матери Анна, — есть. Была тут у ей партия нонешней весной. Заседала. Ну-ко, бабка, рассказывай, как дело-то было.

Тетка — так уж принято у заправских рассказчиков — поломалась немножко, поплямкала своим беззубым, глубоко запавшим ртом, а затем живо, в лицах представила, как к ней завалились местные власти — парторг и председатель колхоза. Завалились по своему мужскому делу — тетка кивнула на посудный шкапик, в котором вся верхняя полка была заставлена разными рюмками и стопками.

— Ну, у хозяина какая говоря? — по-председательски начала водить носом тетка. — Про живот, про хлебы — как живешь, бабка? А поп, — тетка и парторга по-своему называла, — а поп, тот опять про свое: где у тебя вожжи? Почему вожжей в избе не вижу?

— Ну а ты чего, мати? — с задорным подмигом спросила Анна.

— А я говорю, какие тебе вожжи-то надоть? Больно, говорю, часто меняете. У меня внук, говорю, велик ли годами — семьей еще не обзавелся, а уж два раза выносил свои патреты на подволоку, а мои-то патреты, — тетка кивнула на божницу, — знаешь, сколько стоят?

— Неужели так и сказала, мати? — с деланным испугом спросила Анна.

— Так. Да еще и присказала: почто новых вожжей в продаже нету?

— Ну а он чего?

— Ну а он ничего. Делом занялся. — Под дружный смех старух тетка показала, каким делом. — А потом и говорит: того, который без волос да закормленный, — нельзя, ни в каком разе, тот пущай и вперед на темной подволоке проживает, а тот, который с усами, того, говорит, можно и на свет, на того, говорит, послабленье ноне вышло.

— Послабленье? На его-то послабленье? — Фиклистовна-слеза (всегда мокрые глаза) трясущейся рукой указала на переднюю стену. — Я не знаю, как у нас все делается. Одним скажут, другим нет. У нас тоже в анбаре патрет стоит. Хорошая рамочка, не хуже этой. Бутылка, бывало, плачена Васеньке-пузырю — деньгами не взял… Нельзя, говорит, за такое дело деньги…

— Да и у нас есть, — вздохнула подслеповатая Маша-репка. — Красивая картиночка. Все бы потеплее зимой было, закрыла бы какую щель…

Не знаю, чем бы кончился весь этот разговор. Скорее всего ничем, потому что главный-то заводила — тетка — к этому времени была занята уже другим делом — разжиганием самовара (сколько же можно угощать дорогого гостя речами!), да и старухи начали поглядывать на часы.

Солнце было уже далеко за полдник, подходила пора выгонять в ночное скотину (днем ходу ей нет из-за гнуса), и хотя буренки теперь были далеко не у всех, старая привычка сказывалась: старух в этот час охватывало такое же беспокойство и томление, как саму скотину. А потом — что толку в таком разговоре? Не забыли еще, как за слово таскали.

Короче, сегодняшний старушатник работу свою завершил. Иные даже встали, взялись за свои увесистые сумки с покупками — из магазина шли. Но тут в избу нежданно-незванно влетела Олена-горло, и всё опять заходило колесом.

Олена Сергеевна с лихвой оправдывала свое прозвище. Голосище — труба иерихонская. Заорет в нижнем конце деревни, а слышно в верхнем. Ну а насчет характера лучше и не говорить: сроду ни с кем не уживалась. Можно сказать, век в колхозе жила единоличницей, потому что никто не хотел работать с ней рядом — всех отпугивал ее поганый язык.

Так вот, Олена-горло запастила — очень распространенное у нас словечко для обозначения крика на пределе — без всякого предисловия, прямо с порога:

— Чего сидите насухо? Люди-то охапками вино из магазеи тащат.

— Да кто такой ноне богатый?

— Кто! Известно кто — скотницы. Та соплюха-то — Полька Олексеевны — вся-то с рукавицу, двести шестьдесят рубликов огребла. За месяц!

— За месяц? — ахнули в один голос старухи.

— Да! За месяц! Стоит перед прилавком, выколупывает: «Я белого не люблю, мне бы шинпанского бутылки три…»

— Чего-чего? — переспросила туговатая на ухо Маша-репка.

— Шинпанского, говорит. Жижа такая, как стечь кобылья, только подслащена… В темных зеленых бутылках с серебряным горлышком…

— Четыре рубли с копейками по-нонешнему стоит… — авторитетно начала разъяснять Татьяна Марковна.

Но Олена и ее под себя подмяла — не дала досказать.

— Заместо квасу, говорит, пить буду. А то по нонешней жаре все горло пересохло…

— За четыре-то рубля заместо квасу?

— Дак ты какой дырой-то слушаешь? — заорала Олена на тихую Павлу. — Говорю, двести шестьдесят рубликов за месяц отхватила, дак чего ей какой-то там четверик.

— А сколько же с таких денег пензия-то ей будет? — полюбопытствовала, тряся головой, Фиклистовна.

— Да уж не с твое — не двенадцать рублей!

— У моей снохи сестра в совхозе агрономша, дак у них доярки ины по восемьдесят рублей получать будут, — сказала Татьяна Марковна.

— По восемьдесят?

В избе наступила гробовая тишина, даже тетка у печки перестала трещать лучиной — никак не разжигался самовар, потом вдруг хлопнули двери, загрохотали ворота — это Олена-горло выскочила на улицу. Так вот всегда: налетит, взбаламутит людей и вон.

Никогда не унывающая тетка Люба и на этот раз не изменила своему характеру.

— Ладно, давай, — начала она вразумлять старух, — с голоду не помираете. А денежных людей на том свете в ад — разве забыли «Страшный суд»? Бывало, у входа в монастырь висел…

Ее поддержала Анна:

— Верно, верно, мати. Всего вина не перепить, всех денег не прожить. Это кто, бабы, у нас говаривал? Ваня-грыжа, кабыть.

Но нет, и эта хитрость не удалась. Завсхлипывали, запричитали бабы — сперва тихонько, вполголоса, а потом все пуще, пуще, и вот уже сплошной вой и рев стоит в избе.

Я не сразу понял, из-за чего так убиваются мои землячки. Ведь не голодны же! А одеты, обуты — разве сравнишь с прежним? Так чего же им надо? Чего они хотят-требуют, протягивая ко мне свои старые, заскорузлые руки?

Справедливости. Прежде всего справедливости. Потому что разве не горько, не обидно это? Вкалывали, вкалывали всю жизнь, рвали из себя жилы — в колхозе, в лесу, на сплаве, сытыми бывали — по пальцам сосчитаешь года, а старость подошла — что отвалили им, во что оценили их нечеловеческий труд?

Да, да, да! На моих глазах проходила жизнь этих великомучениц, которых у нас иначе не называли как пережитками капитализма. Дескать, какие же это люди — темные, неграмотные, насквозь проросшие коростой собственничества! Вот погодите, новый человек вырастет — на него полюбуйтесь!

Новый человек вырастет — не сомневаюсь. Но пройдет ли по Русской земле еще раз такое

бескорыстное, святое племя?

Вот сидит напротив меня с заплаканным страдальческим лицом старая Фиклистовна. Руки трясутся, голова трясется — отчего? Отчего она ночи напролет кричит и стонет, не дает покоя дочери?

Тридцать лет Фиклистовна обряжалась с коровами. Тридцать. С первого дня колхозной жизни, когда еще не было общих коровников. Утром встань ни свет ни заря, коров подои, воды наноси, навоз выгреби, потом лети домой как угорелая: свою корову обряжай, печь топи, семью корми. А с домом кое-как управилась — опять работа: за подкормкой ехать надо, а то еще и на сенокос да на силос беги. А за подкормкой раза два-три съездила — уж вечерняя дойка подошла. И опять колесом, опять сломя голову…

И так тридцать лет. Каждый день. Без выходных.

Так ведь это хорошо еще, когда скотина дома, — а каково осенью, когда скотина в отгоне и ты утром и вечером шлепаешь пять-шесть верст туда да обратно, через наши Богом проклятые сузёмы? (*Сузём — сыролесье.*)

Раз, бродя с ружьишком по лесу, я видел, как Фиклистовна со своими напарницами возвращалась домой. Погода была ужасная — дождь, слякоть. Лошаденка, выбившаяся из сил, застряла в грязи посреди дороги. Ее стегали, били, упрашивали, умоляли — все бесполезно. И тогда что же сделала полубосая, закоченевшая Фиклистовна? Взвалила бидон с молоком на спину и пошлепала, закачалась по лесной дороге.

А вот сидит рядом с ней Окуля Мишки Пашича. Румянощекая, гладкая старуха. И даже глаза у нее сухие — хуже горькой редьки ей всякая нудьга. Одним словом, бой-старуха. Но я-то не забыл, как она летним вечером в сорок втором, кружась по песчаному пустырю между церковью и школой, навзрыд плакала.

Мне сперва подумалось: напилась Окуля — любила до войны погулять. А оказалось, у Окули куриная слепота и она никак не может попасть на дорогу. И тогда я взял ее за руку и, как малого ребенка, повел домой.

Марья Тихоновна, прости. Не хотелось бы называть тебя лишний раз уличным прозвищем Репка, но как не вспомнить сейчас, за что ты отсидела до войны пять лет. За репки, которые ты сорвала на колхозном поле. Сорвала для того, чтобы заткнуть рот голодным ребятишкам — будущим солдатам Родины, трое из которых так и не вернутся с войны…

Жаль моя, боль моя неутихающая, голубица непорочная! Ну чего ты сидишь, жмешься, как сирота, у самых дверей? Почему не подойдешь к столу?

Нет, не подойдет Оля-дева к столу, сколько ни зови. С места не сдвинется сама.

Пятнадцать весен подряд была она на сплаве, до белых комаров, до ледяной шуги бродила с багром в осенней воде, — а обутка у колхозницы какая? Вот и осталась без ног, еще не старая, с кроткими, покорными глазами, с чистой, как ленок, девической головой.

Живет Оля-дева одна в малюсенькой избушке-задворенке, построенной ей из жалости братом (не колхозом, нет). Возле избушки лоскуток житца — на прибавку к двенадцатирублевой пенсии, немножко картошки, луку, а в крохотных оконышках красные огоньки герани. Для красоты.

Я несколько раз пытался проникнуть в эту убогую избушку, словно из сказки занесенную в наш железный век, но Оля-дева, обычно такая деликатная и уступчивая, всегда находила какой-нибудь предлог для отказа. Она стыдилась своей бедности.

Я приоткрыл немного жизнь четырех старух. А ведь тут была еще Исааковна, была Павла Егоровна, Суса-лешачиха, которая с двенадцати лет начала ломить в лесу. А тетка Люба — Любава Лазаревна?

Встаньте, люди! Русская крестьянка идет. С восьмидесятилетним рабочим стажем. Да, да, да! На пятом году взяла тетка грабли в руки, да так до сих пор и не выпускает их.

Старухи плакали, рвали мое сердце слезами, жалобами и снова и снова заставляли меня оглядываться назад, на тот крестный путь, который они прошли.

Коллективизация, война, гибель мужей и сыновей на фронте, раннее вдовство и безотцовщина, разруха послевоенная, голод, налоги — в дугу согнись, и в конце как итог всего этого — двенадцатирублевая пенсия…

О, сколько раз я выходил из себя, стучал кулаком где надо и не надо, взывал к пониманию, к сочувствию, и сколько раз получал убийственно спокойный ответ: «По закону».

По закону, потому что пенсия начисляется с зарплаты, — и какая зарплата у колхозницы в прошлые годы?

Дикая, чисто чиновничья логика! Раз тебе годами ничего не платили за твою работу, раз у тебя годами задаром забирали выращенный тобою хлеб, молоко, масло, овощи, значит, тебе не положено и нормальной пенсии…

Я попросил у Анны бумаги, дерзкая мысль обратиться с письмом в Верховный Совет (как раз в то время была очередная сессия) пришла мне в голову.

— Напиши, напиши, Олександрович, — разом воспрянули старухи, когда я рассказал им, что надумал.

— Так, так, родимушко. Не типере сказано: под лежач камень вода не текет…

— А матенка-то твоя на том свете возрадуется. Ведь и она не на закрайке поля была… Не от сладкой жизни семь годков в параличе лежала…

Никогда еще у меня не было такой ясности в голове. Я начал строчить с ходу, без остановки. Так и так, дескать, дорогие товарищи, к вам обращается группа престарелых колхозниц с настоятельной просьбой увеличить размеры колхозной пенсии, ибо нельзя прожить человеку на двенадцать рублей. Да разве они и не заслужили, чтобы за свой беззаветный, нечеловеческий труд иметь обеспеченную старость? Дальше, как мне казалось, я поднялся просто до высот государственного мышления: я указал, где взять деньги.

Нет, нет, не из государственного кармана. Не за счет дополнительных ассигнований колхозам, а за счет маленького перераспределения в фонде заработной платы. Председатели колхозов, механизаторы, доярки, бригадиры — словом, все те, кто сегодня в деревне получает большие деньги, неужели они будут возражать против того, чтобы из ихней зарплаты ежемесячно сколько-то отчислять рублишек в пользу колхозных ветеранок? (О ветеранах можно не беспокоиться. Русские мужики редко доживают до старости. Они либо погибают на войнах, либо сгорают в послевоенные лихолетья.) Больше того, я предлагал с подобным призывом

обратиться и к высокооплачиваемым людям города — ведь они-то, если говорить начистоту, еще в большом долгу у сегодняшних старух деревни…

В общем, письмо было готово, оставалось только поставить подписи.

— Ну, кто самый храбрый?

Я шутил, я торжествовал — наконец-то сделано дело, которое столько лет тяжелым камнем лежало на моей душе.

Старухи молчали. Их, еще какую-то минуту назад жалкие, размягченные слезами старые лица начали каменеть на моих глазах.

В чем дело? Чем я обидел их? А может, это извечный страх русского человека перед бумагой вдруг заговорил в них?

Я терпеливо начал разъяснять их собственные права, важность написанной мной бумаги.

Ни слова в ответ. Казалось, не живые, а каменные скифские бабы сидят вокруг меня.

Наконец тягостное для всех молчание нарушила Татьяна Марковна. Она встала и с прямотой колхозной активистки начала тридцатых годов рубанула:

— Не сходите с ума-то! Умный человек в реку без броду не полезет, — а вас куда, старых дур, понесло? В политику!

В политику… Слово это, как электрический ток, встряхнуло старух. Они подняли головы, посмотрели друг на дружку и вдруг все поняли.

— Да, да, неладно едак. У меня Миколай партейной — чего ему скажут?

— Да и у меня Надежда учительница. Тоже по головке за такую матерь не погладят. Куда, скажут, смотришь?..

— Нехорошо, нехорошо, Федор Олександрович. Мы люди темные, неученые, а ты ведь все ходы-выходы знашь…

— Господи, мала пензия! Да раньше в колхозе робили и за работу ничего не получали. А сичас сидим — пасть целый день дерем, — и денежки идут…

— Хорошо, хорошо, бабы. Двенадцать рублей тоже не валяются. Одного хлеба сколько можно купить…

— Да и на чаек-сахарок чего останется. Ведь уж так по доходам и живи…

— Нет, нет, спасибо Советской власти! Не забыла нашу старость. Я кажинный божий день за ей молюсь и сичас помолюсь. — И тут набожная Фиклистовна — это она своим тонким плаксивым голосом прорыдала над моим ухом — поднялась на ноги, повернулась мокрым, просветленным лицом к божнице и трясущимися, изуродованными ревматизмом пальцами начала творить крестное знамение.

Вслед за Фиклистовной перекрестились еще несколько старух. Тетка Люба — сроду не видал ее за этим занятием — тоже наскоро мотнула сухой коричневой ручонкой. Потом в сопровождении обеих хозяек гостьи вышли на крыльцо, довольные, говорливые, — так-то

хорошо посидели!

Я остался в избе один. Вернее, вдвоем с Ним.

Давно, давно не верю во всякую чертовщину, но, честное слово, в эту минуту мне показалось, что Он своим прищуренным глазом внимательно смотрит на меня. Смотрит и самодовольно улыбается: «Надо знать своих земляков, товарищ писатель»…

Ну что я мог возразить на это?

1969 год

Как Лукеша свою Маньку замуж выдала

Кончила техникум, работы близко от дома нету, услали в чужой район. Ну в чужой и в чужой. Не ты первая, не ты последняя. Нонь не старое время: самолет. Было бы желанье — на выходной домой можно.

Ну ладно, уехала у меня Марея. В отпуска приезжает, на выходные приезжает, а пошто она замуж-то не выходит? Три года как ученье кончила, три года на стороне живет, а все одна.

Я думала-думала — надумала: дай-ко к ней съезжу, погляжу, что у ей за жира. Пошто ни один парень не рад моей девке? Красоты большой нету, да и негаведна. Руки-ноги на месте и все остальное не хуже, чем у людей. Шуба — пятьсот пятьдесят рублей давано, сапожки теплые сто двадцать рублей, платок пуховой. И здоровьем не обижена: добрый конь.

Поехала. У коров взяла отпуск (всю жизнь скотницей роблю), отца с малыми на самообслуживание поставила.

Вот добралась до Манькиного поселка. Быстрехонько, за один день. Улицу нашла, дом нашла. А как в дом зайти? Все крыльцо снегом завалено, под саму крышу сугробы, только вот эдакая вот тропиночка протоптана. Как ручеек.

Увидела — дед из соседнего дома вышел.

— Уважаемый, — говорю, — живут, нет здесь девушки?

— Живут, — говорит. — У ихнего крыльца стоишь.

— А вход-то, говорю, — к ним с двора, что ли?

— Пошто со двора? С этого крыльца.

Я больше слов не сорила. Разгорячилась, распалилась — одним махом на лестницу взлетела, на втором этаже живут, а там в избу да не то палку, не то веник схватила да давай-давай утюжить Маньку. Это вместо здорованья-то. Пять кобыл живут в общежитии: кто на койке лежит, кто курит, кто на гитаре брякает… Вот какая у них вольница!

— Мама, мама, не сходи с ума! — Это Манька-то мне.

— Нет, буду, буду сходить! Да вы откуда, говорю, понаехали? От каких матерей-родителей? Да неужели же, говорю, вас дома ничему не учили? Лежите, срамницы, крыльцо запало снегом, в дом не попасть. Все, все, говорю, за лопаты! До единой!

Выгнала. Даже одеться не дала. В одних платьишках выскочили.

Живехонько загребли. Не дорожки — улицы на весь мир побежали.

Умеют. Ведь они из деревни все. Это тут без материного-то глаза обленились, волю забрали, а дома-то они чуть на ноги встали — лопата в руки…

Ну и все. И женихи нашлись. Я вечером-то того же дни из бани возвращаюсь, тоже и я лопатой орудовала, вся употела, — у них полно ребят. Негде сесть.

Вот так, говорю, и живите, чтобы к вам со всего света дороги вели, а я поеду. Меня коровы ждут, дома ждут.

Уехала.

И вот не знаю, прожила я, нет недели-то три дома, от Маньки письмо: мама, я замуж выхожу. А вскорости по ейным-то следочкам и другие побежали. И общежитие распалось. Да…

Ну дак уж тут летом Манькины подруги в гости приезжали, было у нас смеху.

— Ты, ты, — говорят, — Кирилловна, — нас замуж выдала. По твоим дорогам к нам женихи побежали.

А может, и по моим? Может, еще и теперь бы в девках сидели, кабы я порядка не навела?

1981

Куст рукотворный

Ивану Андреевичу Данилову, народному учителю

От Пеши, где я обосновался тем летом, до Слуды всего шестьдесят километров, да и то рекой, а почтовым трактом, или горой, как больше говорят на Севере, и того не будет, а у меня такое ощущение было — на другую планету попал: везде, по всем деревням (а Слуда — это целый куст деревень) гремят топоры, визжат пилы, весело пахнет древесной стружкой. Строительство! Строят скотные дворы, складские помещения, жилые дома. И когда? В какое время? В самый разгар сенокосной страды. В ту пору, когда в деревне испокон веку прекращаются не только всякие работы, а, можно сказать, вымирает сама жизнь: все, и стар и мал, выезжают на пожню.

Поразил меня и зеленый наряд Слуды.

В Пеше в жаркий летний день сгоришь, покамест от одного конца до другого доберешься: ни одного кустика. А тут, в Слуде, тополя над головой. Кипят, шумят на ветру — не то стая птичья крыльями бьет, не то море волной играет.

Я не сомневался: виновник всему в Слуде директор совхоза Василий Степанович Латышев. Двадцать пять лет назад начал он как председатель самого захудалого в районе колхоза (вместе с доярками подвешивал на веревках коров-доходяг), а ныне весь район к нему учиться ездит — какая еще аттестация нужна?

И такого же мнения были люди, но только не сам Василий Степанович.

— Хорошо бы, хорошо бы въехать в местные святцы отцом новой Слуды, — сказал он с легкой усмешкой, — да нет, не получится. Не от меня пошла жить нынешняя Слуда.

— А от кого?

Василий Степанович хитровато прищурил свой серый, немного раскосый глаз и вдруг выпалил:

— От куста!

— От куста?

— Вижу, вижу: сказки рассказывает Латышев. А может, и сказки. В Слуде не приходилось бывать раньше? Ну, твое счастье. Сахара. Песчаный остров. Старики свинью своим внукам подложили — построились на песчаном холме, думали: вот мы сколько хорошей земли сэкономим, самого Господа перехитрим. Тот ведь по этому вопросу с самого начала четкое указание дал: возле воды строиться. А тут один песок. Ничего у дома не вырастишь: ни репки, ни ягодки. В солнечный день с потрохами сгоришь. А ежели ветер — опять ад форменный: с закрытыми глазами, на ощупь по деревне ходишь. Ну и ясно, пока был у нас прижим, кое-как и Слуда чадила. А потом вожжи маленько поослабили — все, как тараканы из холодной избы, поползли. Кто куда. Кто в город, кто в леспромхоз. И до того Слуда обезлюдела — корову подоить некому. А начальство требует: дай работу в колхозе на полный ход, потому как леспромхоз кормить надо. А леспромхоз — это кубики, валюта. Вот ведь какая тут диалектика природы… Первым делом, конечно, по кадровому вопросу ударили. После войны за семь лет одиннадцать председателей сменили. Раз даже первого секретаря райкома поставили. Это уж секретарь обкома один хватил. Приехал в Слуду порядки наводить. Сам. А там, в Слуде, незнамо что. Вот он и психанул. «А, говорит (это секретарю-то райкома), раз толкового председателя подобрать не можешь, сам в сани впрягайся!» Ну, результат тот же — через полгода и секретаря выпрягли, то есть прогнали. А сколько, ты бы знал, всякого добра в эту Слуду свалили! Техника, денежные ссуды — кому в первую очередь? Слуде. Шефская помощь и всякая дармовщина? Слуде. Налоги скостить, недоимки списать — с кого? Со Слуды. Ну все равно, все никто не хочет жить и работать в Слуде. И вот в это самое время, когда уж, можно сказать, саму деревню решили срывать с лица земли, в Слуде и грянула «Аврора»…

Василий Степанович откинул со лба черное, с густой проседью крыло волос, вяло махнул рукой.

— Какая там «Аврора»?.. Сноп хворостин, вот эдаких вот виц саженных. Старый учитель выстрелил. Я попервости, когда его увидел — идет, сгибается под этой ношей, — даже подумал: ну, допекло и старика. Решил, видно, перед тем как концы отдать, порку всем задать. Так сказать, на прощанье. Да, я в то время как председатель по Слуде в мыле бегаю, бабенку какую-нибудь ищу, чтобы на скотный затолкать — второй день коровы не доены, — а старый учитель, Прокопий Алексеевич Потанин, с этим вот снопом хворостин тоже обход по Слуде делает: кустики-тополюки возле домов уговаривает выращивать. Я от злости просто света белого невзвидел, просто ногами стоптал. А как? Подо мной земля рушится, у меня коров некому подоить, а тут о каких-то кустиках… Да выйди за деревню, там этих кустиков видимо-невидимо! Все поля завалило. А Прокопий Алексеевич мне и отвечает: «А напрасно, напрасно, Василий Степанович, вы против кустиков-то. Я, говорит, зеленых помощников вам хочу дать». И дал.

Василий Степанович порылся в письменном ящике, вытащил изрядно потрепанную, в клеенчатой обложке тетрадь.

— Вот тут вся история превращения нашей Сахары в зеленый сад. Смотри — список хозяйств деревни, у кого сколько кустов и когда посажены. А вот по годам да по числам — полив. За пятнадцать лет изо дня в день. Ничего учетик? И так до самой смерти, с ранней весны до поздней осени. Сперва доказал, что на наших песках тополя растут, а потом — самое главное — чтобы возле этих тополей грядки зеленые завелись да ягоды, да овощи заросли… Всего было у нас — и смеха, и горя. Иной бы: да иди ты к Богу в рай со своими кустиками! Не до кустов мне. А потом как одумается, кто его просит, — и забегал. А как? Как старому учителю отказать, когда он и детей твоих учил, и тебя, и жену? Да Прокопий Алексеевич больно-то и не упрашивал. Не хочешь? Лень-матушка заела? А ну дай мне, старику, ведро, сам схожу за водой. Вот так он на старости-то лет своих бывших учеников воспитывал.

Василий Степанович потряс тетрадкой и рассмеялся:

— А я, между прочим, тоже под учетом у Прокопия Алексеевича состоял. Есть в этой тетрадочке и фамилия директора совхоза. Теперь вот скоро на пенсию выходить, жена: давай поедем на родину, — а я так, пожалуй, тут, в Слуде, намерен остаться. Выходит, Прокопий-то Алексеевич и меня посадил на свой зеленый якорь.

Мы вышли из конторы уже на закате. В заметно посвежевшем воздухе было тихо — ни единой ветриночки. Но верхушки тополей, облитые розовым светом, волновались, и Василий Степанович, задрав кверху голову, сказал:

— Думаешь, это тополя рокочут? Прокопий Алексеевич наказы мне дает. На завтра.

Помолчал и уже тихо, на полном серьезе:

— Вот так каждый вечер. Всю страду.

1978–1981

Франтик

На Ладожском приволье у Крутовых я не был больше полугода, и вот первая новость — маленький рыжий песик, который звонко и яростно залаял на меня, едва мы с Мироном подошли к калитке.

— Да откуда у вас этот молодец? Как зовут?

— Франтик.

— Франтик? Это еще что за имя?

Мирон, явно собираясь с мыслями, закусил нижнюю губу, но ответить не успел: на крыльцо, добродушно улыбаясь, выкатил сам Захар Павлович — плотный, не по годам румянощекий, а вслед за ним шумно и крикливо, как цыганский табор, его сыновья, дочери, зятья, внуки…

Все они, начиная с хозяина и кончая самым малым ребятенком, были одеты по-рабочему — в ватники, в свитеры, в резиновые сапоги, и минут через двадцать в таком же облачении были и мы с Мироном.

Дачной жизни в общепринятом смысле — с прогулками, с картами, с лежкой на солнышке (а место позволяло — Ладога гуляла под боком) — у Крутовых не было. Все работали — от велика до мала. Весь день. Ибо работы было невпроворот. Четыре жилых сараюги, помимо брусчатого

дома, постоянного обиталища Захара Павловича, стоят на участке Крутовых, и все они были собраны и сколочены без малейшей подмоги со стороны. А потом — огород, сад, заготовка дров и еще и еще всякие хлопоты и заботы.

Нынешний день ничем не отличался от предыдущих — с жадностью, прямо-таки с упоением нырнул я в крутовский котел жизни, так что про песика с поразившим меня именем и думать было некогда. Да он и сам больше не подавал голоса — быстро разобрался в характере моих отношений с хозяевами.

Вспомнился мне песик поздно вечером, когда мы с Мироном, садясь в электричку, вдруг увидели на пустынной платформе возле леса светловолосую девочку-школьницу с огромным, мрачного вида бульдогом, широкая грудь которого была сплошь увешана медалями.

— Ну так кто же у вас главный выдумщик по собачьим именам? — спросил я, когда платформа с бульдогом и девочкой осталась позади. — Кто окрестил так песика?

— Кто-кто… Все мы… — как-то неохотно и уклончиво буркнул Мирон.

— А всё же?

Мирон помялся, пожал своими широченными плечищами (богатырской кладки человек), потом цепким крутовским взглядом обвел пустой вагон и со вздохом сказал:

— Понимаешь, собачонка у нас когда-то такая была — Франтиком звали. Маленькая собачка, желтенькая, на лису похожа и очень смелая. Ну так вот эта собачка, можно сказать, нам, Крутовым, жизнь спасла…

Мирона не скоро раскачаешь, не скоро доберешься до его сердца — чистый каторжник, как в шутку говаривал про него Захар Павлович, имея в виду своего деда, сосланного когда-то в Сибирь за какое-то тяжкое преступление, чуть ли даже не за убийство человека, но в конце концов и он разговорился:

— Давняя это история. Мохом уже обросла. Мне тогда шесть лет было. Петру одиннадцать, Марфе пять, что ли, Ольге год, ну а Степана, как говорят, того еще и в проекте не было. Жили мы тогда в Новосибирске, на окраине, в глухом-глухом переулке, у оврага, рядом со свалкой. И вот, бывало, любимое занятие у нас, ребятишек, эта свалка. Роемся. Дети. Все интересно. Там стеклышко цветное, там какая-то баночка, там бутылочка… Всякой всячины полно. А то опять в индейцев играем: лопух да чертополох в овраге — как лес. Иной раз уползешь в этот самый лес, не знаешь, как и обратно выбраться. И вот как-то раз мы с Петром да Марфенькой ползаем в своем лесу, и вдруг на глаза собачонка, щенок. Сидит под лопухом одна одинешенька и ни с места. Ну, дети — известно: жалко. Понесли домой. А мама как увидела нашего найденыша — ни в какую. «Сейчас же несите обратно!» Мы с Марфенькой ушам своим не верим: да мама ли это наша? А мама у нас… Понимаешь, самый святой человек, ангел, залетевший на эту Богом проклятую планету… Ладно, в другой раз! — резко оборвал свой рассказ Мирон.

Какое-то время мы ехали молча, сосредоточенно вглядываясь в мелькавшие за черным окошком дачные огни. А потом Мирон, может быть, еще больше растравленный своими воспоминаниями, чем я, заговорил опять:

— В общем, так, в тридцать пятом году дело было. Отец и мама тогда еще паспорта не имели. Жили, как говорится, на нелегальном положении.

— Постой-постой! Да ведь Захар Павлович — красный партизан. Советскую власть в Сибири

ставил…

— Ну и что! Ставил! — Мирон исподлобья, шумно дыша, глянул на меня, и вот когда, почудилось мне, не на шутку, а всерьез проступили в его закаменелом лице черты далекого прадеда. — Знаешь, какой сон отцу снится вот уже сорок два года? Крестьянский дом под железной крышей, с крашеными воротами, с лошадьми, коровами во дворе, с молодой хозяйкой, с детьми. Ну так это не сон, а наша быль. Среди ночи прискакал к отцу дружок из района: «Захар, запрягай своего Воронка, кидай в сани детишек да скачи что есть мочи, ежели жить хочешь. Раскулачивать тебя едут». Ну, отец, не раздумывал, не расспрашивал. Знал, какие дела кругом творятся. Воронка запряг, нас, спящих ребятишек, как котят, в сани, Марфеньку прямо с зыбкой вынес из дому — вывози, Воронко. Мама в передке, на вожжах, а сам с ружьем на заднике: лучше погибну, а живым не дамся. Отец у нас такой: терпит-терпит, мухи не обидит зря, но уж ежели несправедливость — берегись. В общем, спаслись Крутовы. Воронка на подъезде к городу бросили — просто загнали беднягу, — а сами и пошли мытарить по миру. Ты даже представить не можешь, где только мы не жили, куда только нас не заносило. Всю Сибирь изъездили, весь Казахстан, всю Киргизию, на всех стройках перебывали. На стройках проще. Там землекопы, чернорабочие нужны позарез — паспорта не спрашивают. Ну а жили мы… в землянках, в карьерах, в норах. Петр до двенадцати лет в школе не бывал. Отец сам и учил. А в селе родном в это время свой дом. Тепленький. На полном ходу. Мама до того торопилась, что сережки не успела в уши вдеть — так на столе и остались. И вот ничего — ни скотины, ни добра всякого, ни карточек семейных на стене, — ничего не жалела мама. А сережки жалела. Особенно в войну, когда отец на фронте был. Как вспомнит, так слезами и зальется. Отец эти сережки подарил маме, когда она в невестах ходила… Да, — неожиданно ухмыльнулся Мирон, — так вот пришлось бежать отцу из своего родного дома…

Прадед Мирона, тот самый каторжник, которого сослали в Сибирь за какое-то тяжкое преступление, перед смертью дал наказ сыну, то есть отцу Захара Павловича: «Живи как хочешь, Пашка. Ничего и никого не бойся. Все делай. Одного только не моги — закон переступать».

И отец Захара Павловича всю жизнь свято соблюдал этот наказ. До тех пор, пока его всенародно не выпороли шомполами колчаковцы.

Нет, нет, революционером дед не был — чего нет, того нет. И против колчаковского режима попервости не восставал. Власть. А раз власть — дело известное: сполняй приказы. И когда новая власть предписала дать хлеб для нее, слова не сказал — дал. А потом уж новая власть просто грабить стала. Раз закатывается в село отряд — подать столько-то денег чистым золотом, столько-то скота! Вот тут дед Павел и не выдержал: «Не по закону это, господа офицеры. Справедливость, она с двух сторон должна быть». «Ах вот как! Не по закону? Справедливости захотел, красная сволочь! Всыпать ему, чтобы он и слово это забыл».

И деду Павлу всыпали. Так всыпали, что домой замертво на руках принесли.

В ту же ночь, придя в себя, старик первым делом позвал сына: «Захар, садись на коня и скачи к красным. Там наша власть, а это бандиты».

Так Захар Павлович оказался в партизанском отряде, а когда отвоевался — руками и зубами вцепился в землю.

— Отец — хлебороб, понимаешь? Призвание у него такое. Посмотри, у нас на Ладоге сад, огород — каждый вершок разделан. Ну а тут после гражданской войны сама Советская власть призывает, его родная власть: дай хлеб стране, крестьянин! Покажи, красный боец, как надо

на трудовом фронте сражаться, стань культурным хозяином! Вот отец и стал. Другие — по старинке, как Бог на душу положит, а он по науке. Журналы, книжки выписывает, с агрономами советуется. Ну и еще наша крутовская жадность и неуемность. Я архитектор, к примеру… Когда незастроенный участок вижу, просто спать не могу. Все хочется что-нибудь поставить, соорудить. А отец… Отец сроду пустой земли терпеть не может. А в Сибири, сам знаешь, сколько этой земли. Вот отец и развернулся: в этом году десятину-две распашет, в следующем десятину… А с урожаем как? Уберешь с таких площадей один, с помощью жены, у которой малые дети? Одним словом, наемный труд. По закону, конечно. Был такой закон. А когда началась коллективизация — разговор короткий: эксплуататор чужого труда, форменный кулак…

Вагон мало-помалу стал наполняться дачным людом, шумной молодежью, запоздалыми грибниками с нарядными корзинами, прикрытыми сверху ветками осины и красной рябины. Напротив нас, через проход, уселась пожилая, старомодно одетая пара, но Мирон, обычно такой сдержанный и даже подозрительный, тут и глазом не повел.

— Ну вот, теперь ты знаешь нашу семейную тайну. Теперь понятно тебе, почему мама была против Франтика. Какой там Франтик, когда мы от всех скрываемся, специально в этой развалюхе у оврага поселились! Отец этим оврагом и из дому и домой приходил, чтобы лишних глаз к себе не привлекать. Да и мы, дети, знали. Я про себя да про Петра не говорю: мы мужики, нам положено все понимать. Да у нас и пятилетняя Марфенька все понимала. Отец в жизни от нас ничего не скрывал. И мы от ребят ничего не скрываем. Наши жены — моя и Петра — сперва в ужасе были, когда мы при детях начинали выкладываться на всю катушку. Как можно? Это же вопреки всякой педагогике! Ничего, у ребят на щеках румянца не поубавилось от того, что мы эту педагогику побоку. В общем, умом-то мы понимали, почему нам нельзя иметь собачку. Но ведь одно дело ум, а другое — сердце, тем более что щенок ну прямо с мольбой на нас смотрит: дескать, не выгоняйте меня, что со мной будет? А тут как раз возвращается с работы отец: в чем дело? Ну, мама сказала. А отец смотрел-смотрел на нас, да и говорит: «Ладно, Лида, — это маме-то, — пускай остается. Авось все подобру будет». Вот так у нас и появился Франтик; отец, между прочим, и назвал его так — ладный такой, хорошенький щенок, — а месяцев через пять, через шесть и случилась беда. Мама как в воду глядела. Завелась у нас собачонка, все соседние ребятишки полезли к нам…

Мирон покосился на старичков-пенсионеров, сидевших напротив нас, — те, прижавшись головами друг к другу, уже беззаботно посапывали.

— Первый раз обошлось все благополучно. Нагрянули вечером, когда отец и мама случайно в сараюшке оказались, — увидели, как двое к крыльцу подошли и фонариком высвечивают. А второй раз он, Франтик, нас спас. Ценой собственной жизни… Отец и мама судьбу пытать не стали — назавтра же ушли из дому, а нам сказали: ждите, заберем, когда устроимся. И вот мы ждем. Неделю ждем, вторую ждем. И вдруг однажды вечером, когда мы уже спать ложились, тихохонький стук в раму: мама. Не выдержала. Явилась проведать нас. Я как сейчас все помню. В пальтухе, поздней осенью дело было, а под пальтухой легонькое маркизетовое платьице без рукавов. И вообще мама у нас тоненькая была, как девочка, совсем-совсем не деревенская баба. Вошла. Плачет, обнимает, целует нас. И вдруг — Франтик. Во весь голос. А мы, когда мама в избу вошла, на улицу его выпихнули. Как будто беду предчувствовали. У отца в полу доска была на всякий случай отодрана, мама через эту доску в подполье, а мы скорей на то место постель разостлали. Лежим. Трое: Петр, я и Марфенька. А Франтик на улице надрывается, из себя выходит. Потом слышим: тяв-тяв. Хрипит Франтик. Осень, подмерзло на улице — все слышно. Мы с Марфенькой: «Петя, Петя, стреляй! Наш Франтик, наш Франтик…» И вот Петя вскочил — ружье на стене висело. Та самая двустволка, которая сейчас у отца на стене висит. Единственная, между прочим, вещь, которая уцелела от нашего прошлого.

Вскочил, ружье в руки и обратно повесил. Нельзя! Мы-то с Марфенькой мальцы, а он-то, хоть и одиннадцать лет ему, за хозяина сейчас. За маму и за нас в ответе. Выстрели он в них — что будет с мамой? Весь дом перетряхнут.

Мирон отвернулся. Крутовы не любят показывать свою слабость. А вокруг нас обычным чередом шла вагонная жизнь: шумно врывались на станциях новые пассажиры, орали в углу под гитару волосатые парни, и все так же трогательно и безмятежно посапывали напротив старички, прижавшись друг к другу.

Конец этой давней истории Мирон досказал коротко, сухо, в духе протокольного отчета.

Двое просидели у них в избе всю ночь. Спрашивали, выпытывали, где родители. Соблазняли конфетами. И всю ночь в одном маркизетовом безрукавном платьишке выстояла в ледяном подполье мать. После этого она уже не могла оправиться. Правда, в войну держалась. Работала, кормила детей. Но как только дождалась хозяина, слегла на второй день и больше уже не поднималась. Ну а Франтик... Франтика они нашли назавтра задушенным возле дровяного сарая...

Немного оттаял Мирон, когда электричка стала подходить к городу.

— Знакомые тогда нам помогли. У отца и теперь по всему Казахстану кунаки. Ночью нас тогда вывезли. На товарняке. Едем с какими-то чужими, нерусскими дядями в овчинах, в шубах. «Папа, мама... Папа... мама...» — только и умеют по-русски. Потом, не знаю, заснул я, что ли, шесть лет все-таки, или просто темень была, только помню — вдруг свет. И отец и мама. Я такой радости больше ни разу в жизни не испытывал. Стоят, оба улыбаются, и у обоих по щекам слезы. И еще я запомнил, как мы спать легли. Комнатка — мазанка какая-то, — тепло-тепло, и ни одной вещи вокруг, даже табуретки не было. Только солома на полу. Как на пасху. И вот отец лег на спину на эту солому — молодой, крепкий. Моложе меня тогда был. И мы легли. Мама с Марфенькой и с Ольгой с одного боку, а мы с Петром — с другого. А вместо подушек — папины руки. От стены до стены раскинул. На них, на эти раскинутые руки, мы и положили свои головы. И папа тогда сказал: «Ну, слава Богу, опять мы вместе...»

Из вагона на ярко освещенный по случаю какого-то праздника перрон мы с Мироном вышли последними. В руке у меня полыхал большой будет красной рябины, которую собственноручно наломал для меня Захар Павлович. И такие же букеты полыхали в руках у многих людей.

Я не люблю толпу. И когда я попадаю в ее цепкие объятья, у меня одно желание — как можно скорее выбраться на волю.

На сей раз я не спешил. На сей раз я с жадностью, с обостренным вниманием вглядывался в мелькавшие, прыгавшие вокруг меня лица. Вглядывался и думал: а у этого, у того, у той — у них в жизни какие были Франтики?

И еще в эти минуты я думал: через какие беды, через какие испытания мы прошли, а живем да еще и миру светим.

1972–1981